

ДАБЕ
МАМСУРОВ
РАССКАЗЫ

Отсканировано
в июле 2014 года
специально для эл. библиотеки
паблика «Бэрзæфцæг»
(«Крестовый перевал»).

Скангонд æрцыд
2014 азы июлы
сæрмагондæй паблик «Бэрзæфцæг»-ы
чиныгдонæн.

<http://vk.com/barzafcag>

ДАБЕ МАМСУРОВ РАССКАЗЫ



*Перевод
с осетинского*



Москва
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1979

**С(Кав)2
М22**

**Вступительная статья
Л. ЛИБЕДИНСКОЙ**

**Художник
А. ЕРАСОВ**

**М 70303-228
028(01)-79 119-79**

**© Вступительная статья, художественное оформление.
Издательство «Художественная литература», 1979 г.**

ДАБЕ МАМСУРОВ И ГЕРОИ ЕГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ

Немецкий поэт Иоганн Вольфганг Гете говорил, что тот, кто хочет понять сущность поэта, должен побывать у него на родине. Точнее сказать трудно, потому что творчество настоящего художника всегда неразрывно связано с его народом, с родной страной, с ее исторической судьбой и ее природой. Народные радости и боли питают истоки подлинного таланта, дают жизненную и художественную основу произведениям, ту основу, без которой немыслимо искусство.

Не зная Северной Осетии, древней и трудной ее истории, ее природы, прекрасной и суровой, нельзя во всей сложности понять осетинский характер, его мудрость и мужество, верность народным традициям, выработанным веками. А это означает также, что, не имея хотя бы некоторого представления о Северной Осетии и осетинах, что испокон веков населяют горные ущелья и северные склоны Кавказских гор, трудно в полной мере оценить по достоинству творчество одного из основоположников советской осетинской литературы, талантливого писателя Дабе Мамсурова. Потому мы и позволим себе сказать несколько слов о Северной Осетии, о ее истории и литературе, достойным представителем которой является Дабе Мамсуров...

Предками нынешних осетин были северокавказские аланы, корни которых, в свою очередь, уходят в скифо-сарматские племена, что пришли на Кавказ из южнорусских степей и здесь смешались с племенами, издавна населявшими районы Центрального и Западного Кавказа. Аланы в грузинских летописях называются осами, — отсюда и пошло название «осетины». В русских летописях их именуют яссами.

Есть свидетельства, что уже в X—XII веках ясы общались с русскими, жившими в районе Приазовья, где располагалось Тмутараканское царство. Между ними существовали добрососедские отношения. Так, например, при дворе владимиро-суздальского князя Андрея Боголюбского служил ключником ясс Амбал, и князь был женат на его сестре. Брали в жены ясских княжон и другие князья: киевский Ярополк, владимиро-суздальский Всеволод Большое Гнездо, черниговский Мстислав Владимирович.

Монголо-татарское нашествие надолго прервало русско-ясские связи. Они возобновились лишь с конца XV века.

Тяжко отразилось нашествие татаро-монголов на судьбе яссов: частично они были уничтожены, остальные изгнаны с равнины и оказались запертыми в четырех ущельях Центрального Кавказа, продолжая, однако, оказывать упорное сопротивление захватчикам и сохраняя национальную независимость.

Поэтому начиная с времен татаро-монгольского нашествия и до начала XIX века, то есть до присоединения Кавказа к России, осетины жили высоко в горах, в тесных ущельях, среди голых скал, подчас почти у самых ледников. В каждом из четырех ущелий постепенно установились четко выраженные феодальные отношения, и жили ущелья замкнутой жизнью, мало общаясь друг с другом.

Но осетины не были отрезаны от внешнего мира, — через Дарьяльское ущелье проходил большой торговый путь, ныне всемирно известная Военно-Грузинская дорога. По Алагирскому ущелью к верховьям реки Рион пролегала дорога, связывающая северные склоны Кавказского хребта с Грузией. Таким образом у осетин существовали прочные торговые связи с русскими, грузинами, кабардинцами и другими кавказскими народами.

После присоединения Кавказа к России осетины оказались под двойным гнетом: с одной стороны их обирали собственные феодалы — алдары, с другой — русские помещики и царские чиновники.

Межфеодальные распри и вражеские набеги соседних народов вконец разоряли народ. Не случайно А. С. Пушкин в «Путешествии в Арзрум» пишет: «Осетинцы самое бедное племя из народов, обитающих на Кавказе».

Основной бедой осетинских крестьян было безземелье. В Осетии рассказывают печальную историю о том, как пришел осетин на поле, сбросил бурку, чтобы начать работать, и не обнаружил своего поля — все оно уместилось под буркой.

Трагически сложившаяся историческая судьба маленького свободолюбивого народа не могла не отразиться и на его культурном развитии. В легендах, сказках и песнях осетины выражали свои мечты о свободе и независимости, о плодородных землях, резвых табунах и тучных стадах. Устное народное творчество осетин неустанно твердило о ненависти к угнетателям и воспевало героев, борющихся за свободу и правду.

Самым ярким бесписьменным памятником осетинской литературы являются знаменитые «Сказания о нартах». Нарты — гордый, благородный, независимый народ. Они сражаются со всевозможными чудовищами — семиглавыми крылатыми драконами, ве-

ликанами-уаигами, людоедами и всегда одолевают их мудростью и силой ума.

Нартский эпос — это еще и свод нравственных понятий и правил древних осетин, своеобразная энциклопедия воззрений человека на силы природы, на взаимоотношения людей, на общество. Эпос воспевает преданность родной земле, своему народу, храбрость в бою и на охоте, верность дружбе и любви, гостеприимство и хлебосольство. Сказка виртуозно переплетается с правдивой реальностью, народная поэзия — с прозой, с ее пластической лепкой характеров, трагическое соединяется с неповторимым юмором.

Имена нартских героев до сих пор остались нарицательными в жизни осетин. Богатыри Сослан и Батрадз воплощают силу и доброту, ум и бесстрашие. Шатаной в Осетии называют гостеприимную хозяйку, мудрую мать, хранительницу очага, и нет для женщины похвалы выше.

Прекрасны и осетинские сказки, любимый герой которых юноша-бедняк, борющийся против тех, кто обижает простых людей. Он всегда побеждает богачей и, завладев их имуществом, — скотом, землей, сокровищами, — щедро и справедливо раздает его таким же беднякам, как он сам.

Так в песнях, сказках, сказаниях сбывались вековечные мечты маленького гордого народа.

Сведения же о древней осетинской письменности скупы и малочисленны. Сохранились надписи на стенах старинных церквей, на колоколах и могильных камнях, выполненные греческими, грузинскими и арабскими буквами. Правда, народное предание говорит, что когда-то, давным-давно, имели осетины книгу, написанную неизвестным алфавитом. В книге этой будто бы была изложена вся история Осетии и хранилась книга в Нузальской церкви, а потом бесследно исчезла. Но это только предание...

Создателем осетинского литературного языка, основоположником осетинской литературы стал Коста Хетагуров (1859—1906) — выдающийся поэт, страстный публицист и талантливый художник. Творчеством своим и блестящей общественной деятельностью Коста выразил прогрессивную тенденцию кавказских народов, бурно проявившуюся после присоединения Кавказа к России.

Будучи последователем идей русских революционных демократов — Некрасова, Чернышевского, Добролюбова, страстным поклонником Пушкина и Лермонтова, поборником единства русского и осетинского народов, он был глубоко самобытен и национален по форме. В книге «Ирон фандыр» («Осетинская лира») Коста Хетагуров первый написал на осетинском языке о том, что было доступно и понятно каждому простому осетину, — о беспросветной нужде и угнетении горцев. Не случайно сборник этот был конфискован царской полицией. Зато народ с благодарностью принял его стихи. Их передавали из уст в уста, многие из них стали народными песнями. Самое имя Коста Хетагурова звучало призывом к борьбе за справедливость, против эксплуататоров, не только для осетинского народа, но и для всех лучших людей Кавказа.

Однако творчество Коста, его деятельность не могли возникнуть на неподготовленной почве. Присоединение Кавказа к России активизировало процесс распада родовых и феодальных форм, затронув не только осетинское крестьянство, но коснувшись и семей родовых старшин и феодалов. Начинается выделение осетинской интеллигенции, из которой царское правительство стало вербовать офицеров и низшее чиновничество. В народе росли демократические настроения, и они должны были неминуемо повлечь за собой появление целой плеяды писателей.

И в конце 60—70-х годов прошлого века рожда-

ются художественные произведения, из которых мы можем узнать о начале стремления передовой осетинской интеллигенции к творческой и политической деятельности, о пробуждении самосознания народа.

Темирболат Мамсуров писал свои стихи на осетинском языке, Инал Кануков — по-русски, но оба они с любовью заговорили о людях труда и с ненавистью о представителях социальных верхов. Оба понимали, что с присоединением Кавказа к России и в жизни осетинского народа начинается новая эпоха.

Почти в те же годы, что и Инал Кануков, начинает создавать первые прозаические произведения на осетинском языке Сека Гадиев. А к началу XX века в осетинской литературе уже зазвучало множество голосов: А. Кубалов, Б. Гурджибеков, А. Коцоев и другие.

Новый взлет осетинской литературы начинается сразу после победы Октябрьской революции. Воспитанная на демократических традициях Коста Хетагурова и его последователей, осетинская литература с первых же лет Советской власти стала активно участвовать в социалистическом строительстве. Представители писательской молодежи, пришедшие в осетинскую литературу после победы Октябрьской революции, продолжили ее благородные традиции. Для первых советских осетинских писателей характерна близость к народной жизни, превосходное знание национального характера и кровное родство с русской культурой. Вскоре среди молодой литературной поросли все чаще и чаще стало встречаться имя поэта и прозаика Дабе Мамсурова.

Дабе Хабиевич Мамсуров родился в селении Средний Урух Северной Осетии в 1909 году. С детства он, сын бедной вдовы, испытал все тяготы нищеты. На всю жизнь остались в памяти исчерченные черными морщинами материнские руки, то разжигающие огонь

в очаге, то снующие в корыте среди мыльной пены, то раскатывающие тесто для лепешек. Еще ребенком слушал он песни и сказания о нартских богатырях, рассказы о горестной судьбе родного народа. И, как все осетинские мальчишки, воображал себя то Сосланом, то Ацамазом, мечтал о подвигах, о мести богатеям, о борьбе за счастливую долю. Дабе рано начал помогать матери по хозяйству, и она смотрела на него с надеждой: растет помощник и кормилец. Но однажды, когда мальчик вместе со взрослыми работал на обмолоте пшеницы, он зазевался, рука его попала в молотилку и вмиг оказалась раздробленной до самого плеча, — пришлось ее ампутировать.

Теперь он большую часть времени проводил один дома или бродил по окрестностям села, уходил, далеко, в поле, в горы, вдыхал запахи трав и созревающего хлеба, прислушивался к звону цикад и пению птиц. Все вокруг обретало какое-то особое значение. Он словно впервые видел красоту высокого неба и легких облаков, упливавших куда-то, — может быть, в те страны, о которых пелось в старинных песнях и где не было нищеты и горя, где все люди равны и счастливы. И он тоже сочинял стихи и песенки (он любил это занятие еще с детства) и тихонько напевал их про себя, а вслух до поры никому о них не рассказывал, это была его тайна и его радость. Потом он напишет:

Милое детство я помню,
Детству я верен остался:
Росы мне ноги мочили,
В ливнях я летних купался.

Солнце мне было одеждой,
Обувью — пыль на дороге,
Сладко на сене душистом
Спал я, не зная тревоги.

Ел я чурек кукурузный,
Сывороткой орошенный,
Но уносился далеко
Мальчик, мечтой озаренный.

(Перевод А. Ахматовой)

В родном селе окончил он начальную школу.

Дабе Мамсуроvu было восемь лет, когда произошла Октябрьская революция. Теперь зимними вечерами, когда студеный ветер завывал в очаге, он затаив дыхание слушал разговоры взрослых о том, что в далеком холодном городе Петербурге бедняки сбросили царя и взяли власть в свои руки. А здесь, в Осетии, еще бушевали грозы гражданской войны и алдары цепко держались за власть. Но он своим детским сердцем верил: победят храбрые и бедные, — ведь так всегда кончались и сказки, и песни, и народные сказания...

И он смотрел, слушал, запоминал, и в его сознании навсегда запечатлевались события, чтобы потом, в зрелости, воскреснуть и ожить на страницах главного произведения его жизни — «Поэмы о героях», произведения о нелегком пути простого осетинского крестьянина через нужду и горе, через битвы первой мировой войны и войны гражданской — к большевистской правде и справедливости.

Советская власть открыла перед бедным крестьянином Дабе Мамсуроvu путь к образованию. В городе Владикавказе поступает он в педагогический техникум. В 1927 году, еще будучи студентом, Д. Мамсуроv начинает печататься. В стихах и рассказах пишет он о том, что было увидено и пережито им самим. Так в рассказе «Первый шаг» мы читаем о судьбе активной общественницы горянки Даxсан, погибшей от вражеской пули.

Получив диплом учителя, Дабе Мамсуроv не-

сколько лет учит ребят в деревенской школе. Это были сложные годы коллективизации, годы обостренной политической борьбы, и события, которые наблюдал юноша, впоследствии нашли воплощение в романе «Тяжелая операция». В этой книге впервые в осетинской литературе с такой полнотой нарисован образ коммуниста, показана роль большевистской партии в перестройке деревни. Нельзя без волнения читать один из узловых эпизодов романа, в котором кулак Дзантемир, утаив от государства хлеб, подбрасывает своих детей в сельсовет, заявляя, что ему нечем их кормить. И поначалу крестьяне верят ему. Но коммунист Заурбек при помощи сельской учительницы обнаруживает спрятанный хлеб и тем самым доказывает людям, что коварство и ненависть кулачества к Советской власти не знают предела. Справившись с врагами, Заурбек восстанавливает доверие крестьян к политике партии.

В 1932 году Дабе Мамсурова направляют на учебу в Ленинград, где он поступает на исторический факультет университета. Но сказываются последствия тяжелой травмы, полученной в детстве, северный климат губительно отражается на здоровье, и, не окончив университета, Дабе Мамсуров возвращается в родную Осетию, отныне посвятив себя целиком литературному труду.

Он пробует свои силы в разных жанрах — стихи и рассказы, повести и пьесы, журналистская и переводческая деятельность. Верный последователь демократических традиций Коста Хетагурова, он понимает, что только в тесной взаимосвязи с великой русской литературой смогут развиваться реалистические тенденции осетинской литературы. И Дабе Мамсуров переводит на осетинский язык произведения Пушкина и Лермонтова, Некрасова и Белинского.

Писателем неустанно движет стремление расска-

зать и современникам, и будущим поколениям о том, как на его глазах менялась жизнь Северной Осетии, как из беднейшей и отсталой Осетия превратилась в цветущую социалистическую республику. Все новое радует и восхищает его, и он прилагает все свои силы, весь свой талант, чтобы донести до читателя эту радость и восхищение.

Герои произведений Мамсурова — как его больших полотен, так и рассказов, собранных в этой книге, — надолго запоминаются нам потому, что каждый из них наделен живыми индивидуальными чертами характера и поведения и черты эти взяты писателем из реальной среды, которую он не просто знает и изучает, но в которой существует сам.

А. Н. Островский говорил: «Для того чтобы быть народным писателем, мало одной любви к родине, — любовь дает только энергию, чувство, а содержания не дает; надо иначе хорошо знать свой народ, сойтись с ним покороче, сродниться». Дабе Мамсуров именно сроднился с осетинским народом, и потому в каждом герое есть частичка души и сердца самого писателя.

Дабе Мамсуров утвердил себя в осетинской литературе как мастер малой формы. Прочитав эту книгу, читатель легко убедится, что его рассказы лаконичны, ясны и образны. Вот, к примеру, рассказ «Ее роль». Молодой актрисе Рaziат поручают исполнить в спектакле роль старой осетинки — Гошед, несчастной беспомощной вдовы, мужественно борющейся против козней судьбы, подстерегающих ее на каждом шагу. За несколько дней до премьеры к Рaziат приезжает из аула ее мать, чья судьба, как, впрочем, судьба большинства осетинских женщин в дореволюционной Осетии, весьма схожа с судьбой героини, которую должна сыграть Рaziат. И по окончании спектакля мать говорит дочери: «Дочь моя, сними с себя это одеяние

и больше никогда не надевай его». — «Ведь я играю роль...» — возражает дочь. «Очень долго, всю жизнь ходила я в такой роли, и мне даже вспоминать о ней не хочется, хватит с нас и этого...» — отвечает мать, и в этих скучных словах вся ее тяжелая судьба.

Так несколькими фразами Дабе Мамсуров показвает нам мироощущение представительниц двух поколений, двух эпох, и, право же, это звучит куда убедительнее, чем длинные отвлеченные рассуждения на подобную тему.

Рассказы Дабе Мамсурова, собранные вместе, составляют как бы единую картину жизни послереволюционной Осетии в ее противопоставлении такому еще недавнему страшному прошлому.

Писатель умеет в finale рассказа сконцентрировать впечатление от всего выше изложенного. Рассказ «Куница», в котором заведующий колхозной птицефермой старик Гавди разоблачает взяточника Бориса — заместителя председателя райисполкома, заканчивается грустными размышлениями старика. «Нехорошо все это для него обернулось... А что будешь делать? Сам виноват...» — думает старый Гавди, и в этих словах автор дает читателю почувствовать то презрение, которое испытывают колхозники к недостойным поступкам Бориса. Не гнев, не злобу, а именно снисходительное презрение, которое подчас уничтожительнее гнева.

Несмотря на то, что действие в некоторых рассказах Дабе Мамсурова течет плавно и закономерно, в них всегда есть внутреннее напряжение. Умирает старик Годах (рассказ «Смерть Годаха»). Ему очень много лет, никто, даже он сам, не знает, сколько именно. Дети и внуки собрались вокруг него. На первый взгляд может показаться, что в рассказе ничего не происходит. Но вот старик переводит глаза с одного члена семьи на другого, и перед нами вырисовы-

вается галерея характеров, а за ними встает долгая и трудная судьба самого Годаха. Образы, возникающие перед нами, настолько жизненны, что нам не приходит в голову спрашивать себя, были ли такие в действительности, могли ли существовать такие люди, — мы просто верим автору: да, вот они перед нами, живые, достоверные характеры, правдиво изображенные писателем.

Рассказы «Лампа», «Журавль Бип-бип», «Бригадир Гавдын» и другие радуют точностью деталей, умением подметить в повседневной жизни черты нового, выделить их и поднять до обобщений.

Каждая литература — принадлежит ли она большому народу или малому — развивается параллельно с развитием общества, как бы прослеживая его развитие на различных этапах и отражая в отдельных типах и характерах с их индивидуальными и национальными особенностями, рисуя их отношения с окружающим миром, то есть с обществом. Именно таковы герои рассказов Мамсурова. В их словах, в их поведении автору удалось выразить черты, присущие всему осетинскому народу, который вместе с другими народами Советского Союза живет и трудится в социалистическом обществе.

Литературная и общественная деятельность Дабе Мамсурова завоевали ему высокий авторитет и среди читателей Осетии, и среди осетинских писателей. Долгие годы он был депутатом Верховного Совета СОАССР и руководителем Союза писателей Северной Осетии.

* * *

Мы познакомились с Дабе Мамсуровым летом 1947 года. Помню, как под вечер приехал он с друзьями к нам на дачу неподалеку от города Орджоникидзе, где в то лето жили мы всей семьей.

Накрыт стол под старой магнолией, одуряющее пахнут белые маслянистые цветы. Над черепичной крышей, далеко на горизонте, розовеет длинная цепь Кавказских гор, блестит алмазная грань вершины Казбека.

В тот вечер всего лишь два года отделяло нас от милювших битв Отечественной войны. Неподалеку от тех мест, где мы сейчас так мирно беседовали, был остановлен враг. Осетины вместе со всем советским народом героически сражались против фашистов. Небольшая республика выдвинула пять тысяч солдат и офицеров, награжденных боевыми орденами и медалями, и дала стране более пятидесяти Героев Советского Союза. Десять генералов-осетин командовали войсковыми соединениями Советской Армии. Имя выдающегося осетинского полководца дважды Героя Советского Союза Иссы Плиева было у всех на устах.

Дабе Мамсуров по состоянию здоровья не мог воевать с оружием в руках. Но его страстные статьи и очерки, произведения «Мстители» и «Он погиб в плену» (повесть о бойце-осетине, который тяжело раненным был взят в плен и там, в тылу врага, героически организовывал сопротивление) с волнением читались и звали к бою.

Дабе Мамсуров сидел во главе стола, светловолосый и светлоглазый, и, как все мы, наслаждался мирным вечером. Может быть, никогда, как в те первые послевоенные годы, люди с такой остротой не ощущали, какая это радость — закатное солнце, зелень деревьев, прохладный горный ветер, все то, что обозначается коротким и счастливым словом *мир*.

Запомнилось, как Дабе сказал:

— Иногда мне кажется, что я прожил не одну жизнь, а десять. Было ли оно, тяжелое детство, вечный страх унижений и голода? Как стремительно ста-

ло меняться все вокруг на моих глазах после Октября! А фашисты думали, что нас можно победить, то есть отбросить назад, во мрак и темноту. Мы, родившиеся на грани двух эпох и ставшие свидетелями невиданных преобразований, обязаны рассказать о том, что пережито. Как быстро идет время! Скоро подрастут люди, которые станут воспринимать окружающее как нечто само собой разумеющееся. Они должны знать, какой ценой завоеван наш сегодняшний день, должны помнить о том, как жили их деды и прадеды. Пока у меня будут силы, я не устану рассказывать о том, что дала нам, горцам, русская революция. Я счастлив, что родился и жил именно в эти годы!

Он сдержал свое слово. Последний раз мы виделись с Дабе Мамсуровым незадолго до его смерти. Он с трудом поднялся с постели и пересел в кресло, как всегда подтянутый, в белоснежной рубашке, только страшно исхудавший. Придирчивым взглядом господствующего хозяина оглядел стол и, улыбаясь, привычно произнес:

— Посмотрим, что приготовила нам наша Шатана!

И тут же заговорил о работе, о романе «Поэма о героях», над которым работал до последних дней, считая его главным делом своей жизни. Он рассказывал о том, какие ему удалось отыскать в архивах новые материалы, дополняющие сведения о деятельности на Северном Кавказе выдающихся большевиков — С. М. Кирова и С. К. Орджоникидзе.

— Все, что было лучшего в моей душе, я постарался вложить в этот роман, — говорил Дабе. — Госка, вдова, мать двух сыновей, будущих большевиков Гаппо и Батырбека, как много в ней черт моей матери! Мать, Осетия, Родина, что есть у меня дороже?..

Он грустно оглядел папки, аккуратно сложенные на журнальном столике:

— Кажется, приходит время подводить итоги...
Что ж, сделано немало, но как о многом нужно еще написать!

Да, он мог бы написать еще очень многое, но и то, что сделано Дабе Мамсуроным, навсегда оставит достойный след в многонациональной советской литературе.

Лидия Либединская

РАССКАЗЫ



ЗАЛДУЗ

Когда сваты уехали, Дзабо задумчиво вернулся в дом и молча открыл старинный сундук, обитый блестящими железными полосками. В этом сундуке он хранил разные документы, бумаги.

Дзабо берег каждую бумажку не по какой-либо страсти к документам: этому на-учил его горький опыт, когда в 1913 году из-за утери квитанции его заставили заплатить налог второй раз и забрали последнюю корову.

Каких только бумаг не было здесь! Допотопные расписки, квитанции об уплате налога. Среди них бросалась в глаза тетрадь, исписанная ровным, красивым почерком. На обложке ее и на каждом листе внутри слегка проступало изображение двуглавого орла.

Дорога была Дзабо эта тетрадь. Часто доставал он ее из дедовского сундука, бережно листал страницу за страницей, вглядываясь в ровный, красивый почерк, и со вздохом клал обратно. Он не умел читать,

но то, что было написано в рукописи, знал наизусть.

На этот раз Дзабо особенно долго сидел над тетрадью.

Потом отложил ее на диван и проговорил ворчливо:

— И чего эти сваты торопятся? Девушка только что окончила институт, еще домой не приехала, а они уж тут как тут!

Не хотелось старику расставаться с дочерью.

— Что поделаешь? — вздохнула жена. — Такова доля женщины.

— Доля, доля! — передразнил ее Дзабо. — Не доля, а ее желание!

— И пусть! — сказала жена.

— Да я не против, — словно оправдываясь, ответил Дзабо. — Дай бог им счастья. Говорят, он парень хороший, серьезный, образованный! Пусть и остается таким. Но зачем спешить — года, что ли, подождать не могут? Надо же и нам на нее полюбоваться.

— Им виднее.

— Конечно, — согласился Дзабо, — я сватам так и ответил: «Как она скажет, так и будет». — «Ну, — говорят, — тогда недолго ждать, она приедет не сегодня-завтра». Откуда они это знают?

— Должно быть, наперед сговорились.

— Не иначе. Современная молодежь. Раз любят друг друга, ничто им не может помешать. Родителям же остается только радоваться и свадьбу справлять...

Дзабо хотел еще что-то сказать, но в этот момент распахнулась дверь, и на пороге

появилась высокая, статная девушка; под бровями ее, раскинувшимися, как крылья, по-детски радостно улыбались большие черные глаза.

— Дочь моя! Залдуз! — вскрикнул Дзабо, вскочив с места. По старинному обычаю дочерей обнимать не полагается. Жать руки тоже нельзя, и вся радость отца сосредоточилась в его лице.

Дзабо подошел к дочери, взял из ее рук два маленьких чемоданчика и внес их в комнату. Потом сел на диван и усадил Залдуз рядом с собой. Мать с улыбкой глядела на них.

Залдуз рассказала обо всем, что могло интересовать стариков, кроме, впрочем, одного события.

— Это все? — спросил Дзабо.

— Все, — ответила Залдуз и, чтобы скрыть свое смущение, взяла лежавшую рядом тетрадь и принялась перелистывать ее.

— Что это? — удивленно спросила она, прочитав первые страницы.

Дзабо протянул было руку, чтобы взять у нее тетрадь, но потом раздумал и тихо сказал:

— Прочти... Был у нас учитель Андри. Он любил записывать в тетрадки предания, сказки, песни. Вот одна из них, я храню ее как зеницу ока.

Девушка удивилась взволнованному тону отца, посмотрела на мать, глядевшую на нее тепло и грустно, и начала читать. Вот что было написано в этой тетради:

«Две щеки, словно облитые вишневым соком. Два черных глаза. Смуглая шея, блестящая, как очищенная репа. Черные брови, как крылья, взметнулись над глазами. Засмеется — и между алыми губами сверкнут зубы, белые, как горный хрусталь. А до чегостроен ее стан! Во всей округе не было девушки, равной по красоте Залдуз. Но не одна только наружность красит человека. Когда хорошо отзываются о нем, говорят о его душё.

Не было такого дела, от которого отказалась бы Залдуз. Она работала весело иправлялась со всем не хуже любого мужчины. Косила сено, носила навоз на поля, возила дрова из лесу и пасла скот, когда ей еще не исполнилось четырнадцати лет. Умела делать чуреки, шить, плести мишурку, ткать пояса.

Старые люди часто хвалили ее.

— Пусть тот, кому достанется Залдуз, — говорили они, — знает, что это необыкновенная девушка!

А молодые люди, по правде говоря, любили Залдуз больше за красоту. Конечно, и среди них встречались такие, которые ценили ее трудолюбие, но этих было все же меньше.

Кто мог оторвать от нее взгляд, раз увидев ее? Не было юноши, который, познакомившись с ней, не лез бы из кожи вон, чтобы понравиться ей.

На свадьбе Казбека, например, Анкал так прогарцевал перед Залдуз, что свалил-

ся с лошади и разбил голову,— на месте раны до сих пор не растут волосы.

Дело было так. Залдуз сидела в бричке рядом с невестой и играла на гармонике. Анкал же под эту мелодию джигитовал на лошади. Хоть бы джигитовал еще на ровном месте, так нет, захотелось ему блеснуть своим искусством у каменистых обрывов Ирафского ущелья.

Плавным коршуном пролетал он мимо брички на своем вороном, с меткой на лбу, коне и вскрикивал: «Эй! Берегитесь, девушки, утащу я вас!» На скаку молниеносно кидался к земле, хватал полную горсть мелких камней и бросал их в сторону. Конь летел, как пущенная стрела, а он на полном скаку спрыгивал на землю и снова взлетал в седло. И каждый раз, хватая горсть щебня, он бросал взгляд на Залдуз, чтобы узнать, смотрят ли она на него. Если смотрела, он отваживался на еще более отчаянные выходки. Очень ему хотелось, чтобы Залдуз увидела его силу и ловкость и полюбила его.

В одном месте, когда Анкал круто повернулся коня, щебень осыпался под копытами, и всадник вместе с лошадью грохнулся на землю. Конь, словно устыдившись своей неловкости или испугавшись плети хозяина, тут же, дрожа, вскочил на ноги, но всадник остался на камнях неподвижным.

Сначала товарищи думали, что он нарочно не встает, и шутили над ним, но когда увидели, что Анкал не поднимается слишком долго, двое из них подбежали к нему.

— Скорее воды! Умирает!— испуганно крикнул один из юношей, а другой, не дожи-

даясь помощи, бросился к ручью за водой, сложив свою белую войлочную шляпу в виде ковша.

— Девушки, дайте чем перевязать! — опять крикнул первый юноша.

Залдуз соскочила с брички, выхватив на ходу носовые платки, один из-за рукава, второй из кармана, и вместе с другими девушками подбежала к пострадавшему. В бричке осталась невеста с одной из девушек, все остальные собрались вокруг раненого.

Залдуз туго перевязала Анкалу голову, его приподняли, усадили и дали воды. Анкал начал приходить в себя и почувствовал, что рука его лежит в чьей-то мягкой ладони. С усилием он поднял свои веки и страдальчески посмотрел на склонившихся над ним друзей. Когда он увидел Залдуз, держащую его руку, он сразу почувствовал себя лучше. Ему стало неловко, что его упругое, сильное тело так ослабело. Анкал приподнял голову, пытаясь встать, но тело не слушалось его, оно отяжелело, как намокший в воде пень. Веки его снова закрылись.

К тому времени подоспели на арбах провожатые невесты. Они наломали веток в зарослях, нарвали травы, мягко устлали арбу и бережно уложили Анкала. Свадьба двинулась дальше, но уже без музыки и песен.

III

Много сватов ходило в дом к Залдуз, и из окрестных сел, и из ее родного села. Наперебой спешили лучшие из женихов. Но нико-

му не удавалось добыть для себя этот слиток чистого золота.

У Залдуз давно был избранник. Давно начали сплетаться и сплелись корни маленького сердечка Залдуз с сердцем Дзабо. Давно уже привязаны были два юных сердца друг к другу могучими цепями любви, срослись вместе и стали как одно. Ничто во всей вселенной не могло разлучить их, разве только одна смерть.

Дзабо жил в одном селении с Залдуз. Отец его побывал в России, умел немного читать и писать. Он горячо любил Дзабо и, каким бы усталым ни возвращался с работы, всегда возился и играл с маленьким сынишкой. Если же не заставал его дома, огорченно спрашивал: «А где же мой мальчик, хозяйка, почему его не видно?»

Когда Дзабо исполнилось четыре года, отец его умер. Остался он один с матерью. Они бедствовали, пока Дзабо не подрос. Терпеливо, не покладая рук, начал он восстанавливать пошатнувшееся после смерти отца хозяйство.

Но жизнь человека не идет путями, какими хочет его сердце.

Накануне того дня, когда Дзабо собирался послать сватов к Залдуз, он узнал, что его лошадь, которая паслась в табуне, свалилась в ущелье. Через несколько дней пропала вторая лошадь, ее выкрали из конюшни. По селу ходили слухи, что все эти беды причинили Дзабо соперничавшие с ним из-за Залдуз женихи. Однако, кроме слухов, ничего достоверного не было известно.

Пошатнулось хозяйство Дзабо, но он не

унывал. Мать его часто сетовала на свалившиеся беды.

— Не убивайся, нана¹, — говорил он матери. — Был бы жив тот, кто все это добыл, он опять добудет. Убытки ведь несет богатый, а бедному и терять нечего.

Боялся Дзабо только одного — потерять Залдуз, об остальном он не думал. Он говорил себе: не трудно найти все, что нужно для хозяйства, но, если уйдет Залдуз, вторую Залдуз не найдешь.

Особенно же бояться ему было нечего, — никому из многочисленных женихов Залдуз не давала согласия, несмотря на то, что многие из них были из богатых семей и собой хороши. Для нее существовал только Дзабо.

Люди удивлялись выбору Залдуз. Правда, парень он дельный, но бедняк: только и есть у него что корова.

Однажды к матери Залдуз под каким-то предлогом зашла их соседка Бадина. Сперва поговорила о том, о сем, а потом сказала:

— Девушке волю давать нельзя, милая Гоша. Девушка еще не поплавала в волнах жизни, еще не знает, где глубоко, где мелко. Поверь мне, Гоша, если я люблю тебя меньше, чем детей моей матери, приди хоронить моих трех детей!

Гоша поняла, что Бадина собирается с ней чем-то поделиться, и ответила:

— Не говори так, милая Бадина! Пусть будут твои дети живы-здоровы. Я и сама знаю, как ты ко мне относишься.

— Я потому и начала этот разговор, что

¹ Нана — мать (осет.).

люблю тебя. Девушки, они глупые, и если дать волю твоей Залдуз, то она бросится в пропасть, и от своего счастья откажется, и вам горе принесет. Ведь мы сами были девушками. Помнишь, какие мы с тобой были глупые и легкомысленные?

Гошу задели эти слова, но она проговорила как можно мягче:

— Не знаю, как ты, а про себя я этого не помню, я вовсе не была глупой девушкой.

Бадина принужденно улыбнулась и продолжала:

— Подумай, Гоша, что будет, если твоя дочь, которую ты кормишь одними сливками...

— Ничем особенным я ее не кормлю,— прервала соседку Гоша,— даю то же, что и всей семье.

Бадина смешалась, но, желая довести до конца дело, за которым пришла, сказала уже без обиняков:

— Если она выйдет за Дзабо, как она будет жить? Жесткое сукно будет кусать ее нежное тело, целой рубашки и той на себе не увидит.

Гоша не могла ничего понять и удивленно спросила:

— О каком Дзабо ты говоришь? Кто он такой? И при чем здесь моя дочь?

— Ах, милая Гоша, так ты ничего не знаешь?— улыбнулась довольная Бадина.— Твоя дочь любит Дзабо, сына Дударыко! Подумай-ка, нашла кого выбрать! Будто уж более достойных женихов нет больше. Вот она, глупость девичья. Любить-то она его любит, а что с голоду пропадет, о том не задумывается.

Но мать вступилась за выбор дочери:

— Ну, если сын Дударыко с голоду пропадет, то кто же сыт будет? Он беден скотом, это верно, но сила у него есть, и он всегда сумеет прокормить жену. Зачем напраслину возводить?

На этот раз Бадина настолько растерялась, что не нашлась, что ответить, и потопропилась уйти, даже не заикнувшись о том, что пришла она свахой.

VI

Как-то в ясный лунный вечер сидели старики, родители Залдуз, и беседовали о том, за кого бы им выдать свою единственную дочь. Боялись они одного: вдруг она станет женой человека, который обидит ее, принесет ей горе. Тогда они умрут, взяв на душу грех перед единственным дорогим существом.

— А сама-то она кого-нибудь любит? Ты ничего не слыхала? — спросил у Гоши муж.

— Вот говорила как-то Бадина, будто любит Залдуз Дзабо, сына Дударыко. А так и я об этом знаю не больше твоего.

— Да это же славный парень! — улыбнулся отец.

— Парень-то хороший, но, как погляжу я, нечем ему будет заплатить калым.

— А что нам делать с этим калымом, даже если мы получим его? Лишь бы человек был хороший. Нам хватит и того, что имеем.

— Я не говорю, что нам калым нужен, — заметила мать. — Боюсь, только, что люди

осудят нас. Скажут, что мы просим за нашу красавицу дочь меньше, чем за хорошего щенка. Знаешь, как любят посудачить!

— Пускай говорят, что хотят. Счастье дочери для нас дороже людского мнения.

Все же Гоше казалось неудобным отдать Залдуз без калыма.

— А если сделаем так,— предположила она,— возьмем калым, все как полагается, чтобы люди зря языки не чесали, а потом вернем им обратно.

Старик согласился с нею. На том и порешили. И стали ждать сватов от Дзабо. А Дзабо спешил восстановить хозяйство, чтобы с честью повести сватовство.

То и дело появлялись в доме Залдуз сваты, но тех сватов, которых ждали, все не было и не было. Кто знает,— если бы не стыд перед людьми, старики первые предложили бы Дзабо породниться. Стало бы известно, что Залдуз просватана, и наконец оставили бы в покое и стариков и девушку. Их совсем извели бесконечные наезды сватов.

Сваты же, зная о причине отказов, не брезгали ничем, даже клеветой. Они приходили к родителям Залдуз и начинали их уверять, что дедушка Дзабо был пьяница, а отец придуруковат, что в роде Дзабо никогда не было ни одного достойного человека, что породниться с ним значит осрамиться.

Грубая ложь, вызванная завистью и досадой, не встречала доверия у родителей Залдуз. Они хорошо знали отца Дзабо, его семью и родственников, и наговоры сватов только раздражали их.

Отец Залдуз не раз порывался прикрыть

рот болтунам. «Хорошо говоришь,— хотелось ему сказать,— а если бы не врал, то говорил бы еще лучше». Но он сдерживался, чтобы не задеть человека, который как-никак был гостем.

Среди женихов часто происходили распри, один не хотел уступить Залдуз другому. Чтобы отвадить соперника от ее дома, они прибегали к таким уловкам: встречаясь, принимались хулить Залдуз, каждый надеялся, что сердце другого охладеет к девушке.

После подобных разговоров они расходились по домам, посмеиваясь и говоря про себя: «Ну, теперь он к ней больше не сунется, а я буду стараться вовсю»,— но вечером сваты обоих соперников опять встречались в ее доме.

Салимат, мать Анкала, убедившись, что Залдуз не пойдет за ее сына, решила мстить.

Как-то вечером, на кладбище, она подобралась к группе женщин, поджала губы и, оглядевшись по сторонам, протянула, качая головой:

— А-а! Как опозорила себя гордая дочь Гоши! Что натворила! Кто после этого женится на ней?

Женщины навострили уши, посыпались недоуменные вопросы:

— В чем дело?

— Что она сделала?

— Неужели вы еще не слышали, что говорят люди? Ее застали с Хаматом! Какой срам, вы подумайте!

Женщины переглянулись, пораженные.

— Я и во сне этому не поверю!— решительно заявила одна из них.

И все соглашались с ней. Никто не поверили в этот дикий слух.

Тогда Салимат отчаянно поклялась, как говорится, вывернула на солнце всех своих покойников¹. И люди начали сомневаться.

Один передал другому, другой третьему, и к полудню следующего дня новость облетела все село. Только и говорили об этом. Клевета пошла гулять и по другим селам. Особенно постарались тут молодчики, отвергнутые Залдуз. Больше всех усердствовал Анкал, тот самый, которому Залдуз перевязала рану на голове. Так-то он отблагодарил ее за помощь!

И девушки, завидовавшие Залдуз, ее красоте и успеху у юношей, не щадя языка, распространяли этот постыдный слух.

Дошла весть и до родителей Залдуз. Сами Залдуз еще ничего не знала.

Однажды утром вышла она по воду вместе со своей лучшей подругой Лезухан. Шутя и смеясь, шли девушки. Скажет одна что-нибудь, и обе захочут во весь голос, и звонкий их смех далеко разносится в чистом горном воздухе.

Набрав полные ведра воды, поставили их на камни и присели на берегу. Тут Лезухан, став вдруг серьезной, обратилась к Залдуз:

— Залдуз, я хочу спросить у тебя одну вещь, но боюсь, что ты обидишься.

— Спрашивай! Зачем мне обижаться?

— Нет, лучше не стоит. Только огорчать тебя. Все равно, сама услышишь.

¹ Самая страшная клятва.

Теперь Лезухан уже жалела, что выдала себя, но было поздно — попробуй поймай пулю, когда она вылетела из ружья.

Залдуз нахмурилась и потребовала объяснений.

Лезухан не хватало духу рассказать все, что она слышала. В конце концов она тихо проговорила:

— Болтают, будто тебя кто-то с Хаматом застал, и я хотела спросить, правда ли это?

Залдуз задрожала с ног до головы, точно кто-то вылил на нее ведро воды. Холодный пот выступил, как роса. Кровь медленно залила лицо девушки и отхлынула обратно. Лицо стало мертвенно-бледным.

— Кто сказал тебе это? — прошептала она.

Лезухан не знала, кого ей указать, — более сорока человек говорили ей об этом.

— Все говорят, все разом...

От этих слов Залдуз задрожала еще сильнее. Слова застряли в ее горле. Подняв ведра, она молча направилась домой. Лезухан безмолвно следовала за ней. Не доходя до дома, Залдуз остановилась и, подняв на Лезухан глаза, полные слез, сказала:

— Кажется, на мою неповинную голову обрушилось несчастье, самое позорное для девушки.

Пришла Залдуз домой. Быстро сделала всю работу по дому, потом заперлась в своей комнате, бросилась ничком на постель и так лежала лицом в подушку, которая стала мокрой от слез.

Она слышала, как мать и отец до полу-

ночи о чем-то шептались, и поняла, что они все уже знают.

Старики уснули, а Залдуз все еще плакала. Ее черные глаза превратились в два горных ключа, и слезы не переставая сочились из них.

Чуть забрезжил рассвет, как Залдуз взяла ведра и побежала к реке. В селении никто еще не просыпался, кругом стояла глубокая тишина. Эта тишина пришла по душе Залдуз. Вот спят люди крепким сном, не слушают и не повторяют постыдных сплетен. Но скоро они проснутся, и снова пойдут те же разговоры. И Залдуз подумала: «Хорошо, если бы люди жили в вечном сне, тогда царила бы такая же тишина и некому было бы говорить обо мне».

Она подошла к месту, где обычно набирала воду, поставила ведра у самой реки и села на камень под ивой.

Как воды Уруха пытаются размыть корни этой ивы, так и худая мольва стремится погубить Залдуз. Волны набрасываются на иву и, не в силах одолеть ее, вскипают от бешенства, бурлят, колются о берег и в бессильной ярости бегут дальше.

Долго думала Залдуз о том, что ей делать, где искать спасения, и когда рассвело, она решила, что единственный выход для нее — смерть. Этот бурный рокочущий поток освободит ее от позора и муки.

Залдуз вскочила и привязала к ветке дерева платок: пусть все люди узнают, что она бросилась в воду. Она посмотрела вокруг. Деревья стоят в своем роскошном летнем наряде, радостно играют волны Уруха, пти-

цы поют глубоко проникающие в душу песни, восток светится лучами утренней зари. И со всем этим должна проститься только еще начинаящая жить Залдуз...

Она добежала до самой воды, вытянула вперед свои сильные руки и... остановилась. «Что станет с моим старым отцом и матерью? Кто о них позаботится? Ведь они совсем одинокие...— Она вспомнила и Дзабо, его лицо, его речи.— А что он думает об этом?— мелькнуло в голове.— Надо бы мне увидеть его еще раз».

Девушка вернулась к иве, отвязала платок и, подняв ведра, пошла домой.

Залдуз не знала, что за нею все время наблюдала, спрятавшись за большим камнем, дочь соседки Кошер.

Кошер больше всего удивил платок, привязанный к дереву. Не купалась же Залдуз. Кто решится полезть в эту ревущую реку? «Нет, здесь что-то другое! Скорее всего она — оборотень! Ведьма!»

Кошер побежала домой и рассказала все, что видела, кое-что прибавила и от себя. Говорила, что видела собственными глазами, как Залдуз превратилась в ус-бирах¹, проскочила в мельничный желоб и снова обернулась женщиной.

По селу разошелся новый слух, что Залдуз еще и ус-бирах. Дошел и этот слух до родителей Залдуз. Старик, отец ее, на этот раз не выдержал. Вытирая старой шершавой

¹ Ус - биrah — буквально: баба-волчица. По поверью, некоторые женщины, спустившись через желоб мельницы, обрачиваются в волчиц и травят сельский скот.

ладонью слезы, катившиеся из глаз, он вошел в комнату Залдуз.

— Какой бог наказал тебя, наша любимая, умная дочь? Как случилось, что ты стала проклятием божьим? Достойной зависти была до сих пор твоя жизнь. Почему же теперь ты покрыла себя и нас позором? Мало того, что о тебе уже говорили, а сейчас говорят, что ты еще и ус-бирах.

Тяжело было Залдуз слушать отца. Чем она докажет, что невинна? Теперь, как гласит старая пословица, если бы она даже вывалаилась в священной золе, никто уж не поверил бы ей. Она низко опустила голову, и слезы градом полились из глаз.

▽

Три недели тянулись для Залдуз мучительно долго. Она была привязана к миру одной ниткой — надеждой увидеть Дзабо, узнать, что он думает.

Кто ее встречал сейчас, останавливался пораженный: кожа да кости — все, что осталось от красавицы Залдуз.

Глаза глубоко запали и испуганно смотрели на всех. На месте румяных щек торчали желтые скулы. Лицо стало прозрачнее бумаги. Только по косам да белоснежным зубам можно было узнать прежнюю Залдуз.

Все эти три недели она пряталась от людей. На рассвете, чтобы никого не встретить, приносила воду, пораньше выполняла всю работу по дому, потом забиралась к себе в комнату и там проводила в слезах день и ночь..

Вот и сегодня, как обычно, пошла Залдуз к реке. Не успела еще дойти до берега, как неожиданно лицом к лицу столкнулась с Дзабо. Дзабо куда-то шел, неся на плечах сапетку¹ для кукурузы. Сердце Залдуз дрогнуло от радости. Она остановилась, опустив от волнения голову.

Дзабо не сразу узнал ее, так она изменилась.

— Залдуз, неужели это ты? — спросил он неуверенно.

Залдуз, не поднимая головы, ответила:

— Да, я.

В первый момент Дзабо думал было идти дальше своей дорогой, но любовь будто клемшами сжала ему сердце и не дала ступить и шагу.

— Не выслушаешь ли ты от меня одно слово? — спросил он.

Что слово? Всю жизнь она не устала бы слушать его! От волнения Залдуз молчала.

— Если не хочешь, я пойду, — сказал Дзабо печально.

— Говори! Я слушаю.

Дзабо опустил сапетку и приблизился к девушке.

— Как ты похудела, — сказал он, пристально глядя на нее. — Ты вся высохла. Зачем ты себя так терзаешь? Надо быть сильнее. Послушайся моего совета, махни рукой на все пересуды. Поговорят-поговорят и перестанут!

¹ Сапетка — большая плетеная корзина для хранения и перевозки кукурузы.

Теплая волна хлынула к сердцу девушки, она почувствовала, что к ней возвращается жизнь. «Верит он мне, верит!» — радостно подумала она, и слезы потекли из ее глаз.

— Не плачь, не терзай моего сердца, — сказал Дзабо. — Достаточно с меня и того, что три недели я не видел тебя. Лучше скажи мне, что говорит тебе твое сердце, помнит ли оно еще меня?

— Все спуталось во мне, и я не понимаю больше, что такое любовь и что такое жизнь, — вымолвила Залдуз и замолчала.

Дзабо продолжал:

— Три недели не всходило для меня солнце. Сколько раз я заглядывал во двор к вам через плетень, но мне не удавалось увидеть тебя. Слушай меня: пусть люди говорят что хотят, я люблю тебя больше прежнего и не в силах жить без тебя. Я не могу оторвать от тебя своего сердца. Если и ты любишь меня, подай мне свою руку!

Залдуз медленно протянула свою руку Дзабо, он схватил ее и, оглянувшись по сторонам, поцеловал, потом обеими руками прижал ее ладонь к своей груди, словно хотел, чтобы она коснулась его сердца.

На бледных щеках Залдуз вспыхнул румянец. Впервые за эти три недели на губах ее показалась улыбка. Были забыты все мучения. Выражение счастья и радости появилось на ее лице.

Дзабо крепко сжал ее руку и прошептал:

— Если тебе дорога наша любовь, умоляю, скажи, есть ли правда в том, что говорят люди? Я должен знать.

Погасла радость Залдуз. Сердце ее по-мертвело. Единственный человек, в которого она верила, и тот усомнился в ней. Солнце потухло над ее головой.

Слова не сказала больше Залдуз, вырвала свою руку и быстро ушла прочь. Дзабо несколько раз окликнул ее, но она даже не оглянулась.

Дзабо проводил ее застывшим взглядом, пока она не скрылась. Затем вздохнул, поднял свою сапетку и со стесненным сердцем побрел домой.

Залдуз не прикоснулась в этот день к работе. Весь день она провела у себя, решение ее было твердое: утром Урух примет ее тело. Одна только мысль терзала Залдуз — какой знак оставить, чтобы люди хотя бы после смерти ее поняли, что погубили невинную? Но ничего придумать не смогла.

Настала ночь. Вдруг кто-то высоким голосом запел под самым ее окном. Группа голосов ему вторила. Залдуз невольно прислушалась, и ужас охватил ее. Она ясно услышала слова унизительной песни, в которой упоминалось ее имя и имя Хамата.

В отчаянии Залдуз с размаху ударила головой о спинку кровати, но песня звучала все громче и язвительнее.

Взгляд ее упал на стол, там лежал нож. Она бросилась к нему, как к спасению, больше она не в состоянии была терпеть.

«Ах, Дзабо, Дзабо!» — пронеслось в ее голове.

Она направила нож в сердце и с решимостью отчаяния нанесла удар.

Больше она уже не слышала песни...»

VI

Таковы были слова, которыми заканчивался рассказ.

Внизу слегка проступало изображение двуглавого орла.

— Неужели она умерла? — воскликнула Залдуз, потрясенная рассказом.

— Да, — тихо ответил ей отец. — Смерть она предпочла позору. В то дикое время она не нашла другого выхода. Одна она была бессильна бороться.

— Кто же был этот Дзабо?

Отец промолчал в ответ, только лицо его слегка покраснело.

— Где он сейчас?

Отец продолжал молчать, пристально глядя на дочь.

— А-а, — чуть вздохнула Залдуз, догадываясь.

— В память этой девушки тебя назвали Залдуз, — печально сказала мать. — Отец просил меня об этом, и я охотно согласилась.

— Имена у вас одинаковые, — сказал Дзабо, — но жизнь неодинаковая. Ты родилась в счастливое время... Ну да ладно, — махнул он рукой, словно отгоняя тяжелые воспоминания. — Надо идти за бараном. Скоро сваты придут... Мать, ты готова?

— Готова, готова, за меня не беспокойся, сейчас соседки придут помочь, — ответила жена, направляясь в кухню.

— Мы такой пир закатим — век помнить будут! — воскликнул Дзабо, собираясь уходить.

Но дочь остановила его.

— Отец, если ты любишь меня, — попросила она, — то надень сегодня все свои награды.

— Для чего же мне наряжаться, ведь сватаются не ко мне?

— Я прошу тебя, нужно, — серьезно сказала Залдуз.

— Хорошо! Я это сделаю, — так же серьезно ответил Дзабо и прижал свою Залдуз к груди.

1927

СОКОЛ

|

— Не упрекай меня, Цоцканон, жена моя свет глаз моих, за то, что я состарился. Есть мужчины и старше меня, а могут еще любого коня на скаку остановить. Взгляни на пепел в нашем очаге; этому пеплу подобен я, пеплу того огня, на котором всю мою жизнь пекли чужие пироги. Или ты забыла, что в молодости был я не хуже людей, работал за десятерых, никому не уступал в пляске, в джигитовке? Да о чем я говорю тебе, ты сама, верно, помнишь... — так отвечал старик Угалук, когда жена его ворчала на него, попрекая дряхлостью.

Нет, Цоцканон не забыла о том, что ее благоверный был когда-то молодцом: Но Угалук последнее время ослаб: ходил шатаясь, согнувшись, стонал.

Того, что старость пришла к нему, Угалук не оспаривал. Но не годы состарили его, а то, что всю жизнь гнул он спину на чужой земле. Ни своего плуга, ни рабочего скота не было у него. С утра до ночи работал он на других.

И мысль, что всю жизнь работает он на чужих, жгла его непрестанно и вот превратила в пепел.

А ведь сколько потрудился Угалук на своем веку, какие богатства отвоевал у природы! А что получил? Ни почета, ни радости. Его даже за человека не считали. Как тут не возненавидеть все вокруг — и чужую землю, и чужой скот, и чужое добро. И вот, «все ниже сходя по лестнице жизни», — так о себе говорил Угалук, — он печально раздумывал о своем единственном сыне Ахполе. Неужели и его судьба будет такой же, как судьба горемыки отца?

Но Ахпол оказался счастливее. Когда настали новые, советские времена, он был совсем молод, и тут пришла к Угалуку земля, ее дала Советская власть, а потом впервые во двор Угалука ступила не чужая, а его собственная лошадь.

Хотя Угалук всю жизнь был безлошадным крестьянином, но каждый хозяин, покупая лошадь, приглашал его к себе: Угалук понимал толк в лошадях. И теперь мужчины со всего села сошлись во двор Угалука, послушать, как он оценит покупку своего сына

С виду кобылица, купленная Ахполом, была неказиста: худая, понурая. Угалук не торопясь подошел к ней, оттянул ей нижнюю губу, заглянул в рот и тихо сказал:

— С весны пошел одиннадцатый год.

Потом рука Угалука осторожно тронула вымя кобылицы, и вдруг под обвисшими усами его точно солнце сверкнуло:

— Жеребая, — улыбаясь, прошептал он.

Ахпол, польщенный одобрением отца, со-

общил, что человек, продавший кобылицу, клялся и божился, что будто родители будущего жеребенка принадлежат к чистокровной кабардинской породе.

— Да принесет она счастье этому дому! — сказал Угалук. Эти слова он всегда говорил, когда его приглашали оценить нового коня. Не плохое животное, если только не норовистое.

Но, вдруг вспомнив, что эта лошадь принадлежит ему, он с чувством сказал:

— Пусть будет счастлив тот, кто продал нам ее!

||

С тех пор повеселел Угалук, стал бодрее глядеть на мир, радость согревала его сердце, новая молодость появилась у старика. Стал ухаживать за конем. Через месяца два после того, как купили лошадь, Ахпол, вернувшись домой, сказал отцу:

— Я вступаю в колхоз. Завтра отведу кобылицу в колхозную конюшню.

Сын был задумчив, сосредоточен. Услышав его слова, Угалук похолодел. Что такое колхоз, он не знал, но понял одно: сын куда-то уводит со двора лошадь.

— Чтобы съел я твои болезни, сын мой, но разве мы задолжали этому колхозу, что ты отдаешь ему нашу лошадь? — спросил Угалук. Голос его дрожал, как у ребенка.

— Не отдаю я ее, а сдаю в артель. Все мы, колхозники, сдаем в артель своих лошадей и сообща будем владеть ими.

— Сын мой, то, что не у тебя в доме, то

не твое. Ты не смотри, как другие делают. Богачу можно и по прадеду поминки справлять, а мы — люди бедные, своя лепешка слаще чужого пирога.

Но сын был тверд, и Угалук наконец сказал просительно:

— Дождался бы ты, солнышко мое, чтобы кобылица ожеребилась. Я стар, не мне жеребенок нужен, а тебе.

Сын сердито взглянул на отца и сказал:

— Завтра надо сдать кобылицу.

Не спалось в эту ночь Угалуку. Он глядел в потолок, черные, мрачные мысли быстро сменяли одна другую, и от негодования он сопел особенно громко.

Ахпол поздно возвращался с собрания. Светила полная луна, снег искрился, и было видно, как днем. Чтобы не тревожить родителей, он тихо отодвинул плетеные ворота, вошел во двор и застыл на месте, увидев, что в сарае, где находилась кобылица, мелькнула какая-то тень «Вор». Ахпол уже хотел было побежать и привести людей, но сообразил, что за это время вор успеет увести кобылицу. Тогда он бесшумно достал топор, подкрался к сараю, прислушался — и чуть не расхохотался, услышав громкое сопение. Это, несомненно, был Угалук. Ахпол положил топор на место и собирался уже окликнуть отца, как вдруг разобрал его бормотанье:

— Живи, глупая скотина, прости меня бог, не в силах я совершить такой грех. Отныне в чужом стойле чужой ты мне станешь, а чужой — это враг. Но все равно, живи... — подавляя рыдания, бормотал Угалук.

Он вышел из сарай, и Ахпол, затаившийся в тени, возле стены, увидел в его руке нож.

III

Когда Ахпол сдал кобылицу в колхоз, ветеринарный врач осмотрел ее и дал распоряжение — освободить от работ, чтобы не повредить будущему жеребенку. Зиму кобылица провела в теплой конюшне, а весной паслась с другими жеребыми лошадьми.

Угалук все же наведывался к кобылице, она по-прежнему была близка его сердцу. Он старался приходить к кормежке и потихоньку таскал початки кукурузы из других кормушек и подкладывал ей.

И вот однажды, выйдя на луг, где паслись жеребые кобылицы, Угалук издали увидел, что возле его кобылицы суетились люди. «Ожеребилась». И тут злоба укусила сердце старика, и он задрожал.

— Пусть будет проклят сын, который лишил меня этой радости! — бормотал он и все же подходил ближе и ближе, пока не увидел, что около его кобылицы стоит совсем еще мокрый и слабенький жеребенок. Он был очень мал, но белую звездочку на лбу и белое кольцо на задней ноге можно было разглядеть ясно.

«Чистокровный кабардинец, — с гордостью подумал Угалук, но тут же нахмурился: — С чего это я обрадовался?»

— Ну как, папаша? — весело спросил ветеринар. — Жеребенок-то от твоей кобылицы хорош? А?

— Если бы кобылица была моя, она бы на моем дворе ожеребилась. Пусть не простит бог того, кто лишил меня лошади.

— Не горюй, стариk, кобылица все равно за тобой записана, — успокаивающе сказал ветеринар. — Придумай-ка лучше кличку этому чудо-жеребенку.

— Был бы он мой, я сумел бы его назвать, никого не спрашивая. Пусть не будет прощенья такому сыну, — бормотал Угалук. — Ведь какой добрый конь из этого жеребенка вырастет, настоящий сокол будет!

— Пусть так и будет, — весело подхватил ветеринар. — Сокол! Так по-твоему и назовем.

Места себе не находил Угалук. С кем поделиться таким горем? И, придя на нихас¹, Угалук рассказал о своих терзаниях родичу своему, старому Хабли. С родственником говорить, все равно что самому себе рассказывать.

Как-то, встретившись снова на нихасе, старики сидели и молчали. Что же, приятно и помолчать, когда знаешь все помыслы друг друга. Вот погнали мимо колхозных коней с жеребятами. Угалук сразу узнал среди них Сокола, вздохнул и сказал:

— Конь-то какой будет! И такого коня лишиться, эх!

Хабли согласился:

— Верно, конь будет стоящий. А ты вон на того жеребенка взгляни, — и Хабли

¹ Нихас — место отдыха, где собираются мужчины.



показал пальцем, — он от моей кобылицы.
Верно, хороший?

— Да что толковать о твоем жеребенке, Хабли! Ведь мой-то чистокровный кабардинец. Или ты не разглядел?

— Какой там кабардинец? Вот мой от арабского коня, или глаза твои ослепли, что ты этого не видишь?

— Согрешил ты, Хабли, солгал, поскорей отрекись от этого. Я знаю толк в лошадях, и ты знаешь. У жеребенка, которого ты по-

казал, даже капли арабской крови не может быть, это ублюдок.

— Я не солгал, только врага своего назову я лжецом. Ты, конечно, понимаешь толк в лошадях, но еще лучше умеешь обидеть человека, — рассердился Хабли.

— Видит аллах, у меня и мысли не было тебя обидеть, Хабли, но жеребенок твой помесь обычной нашей горской лошади и мула.

— Твой, твой жеребенок потомок мула. Это всякий скажет, кто хоть раз взглянет на него.

Старики поднялись с места, глаза у них гневно сверкали, и быть бы тут драке, но Угалук первый пришел в себя.

— Из-за чего нам ссориться, Хабли? Разве наши теперь эти жеребята?

Хабли с ним согласился. Но презрительные слова Угалука по-настоящему обидели его. Он решил потихоньку холить своего жеребенка и нанести поражение старому другу.

IV

Теперь Хабли стал часто посещать колхозные конюшни и пастбища. Жеребенок сначала дичился, но старик сумел приучить его лакомствами и лаской.

Вскоре старые друзья снова встретились на нихасе. Разговаривали они мирно, будто и не ссорились никогда. И опять мимо них погнали на водопой кобылиц с жеребятами.

— Взгляни-ка, Угалук, еще раз и признай, прав я был: не простых кровей мой жеребенок. Видишь, какой он видный, гладкий.

— Жиреть свойственно свинье, — коротко ответил Угалук.

Однако похвальба Хабли задела его. Сокол по сравнению с жеребенком Хабли выглядел неказисто. И Угалук, выждав, когда председатель колхоза остался один в комнате правления, зашел к нему.

— Что-то скучно мне дома без дела. За жеребенком своим поухаживать, что ли? Как ты на это посмотришь?

И председатель даже поблагодарил Угалука за доброе предложение.

На следующий день Угалук с утра пошел в конюшню. Возле дома Хабли он ускорил шаг, не желая, чтобы соперник увидел его.

Вот и конюшня. Сердце Угалука забилось сильнее. Сейчас он увидит своего жеребенка. Своего Сокола с белой звездочкой на лбу.

Но в конюшне кто-то уже работал. Угалук взгляделся, и кровь ударила ему в голову: это был Хабли. Тщательно и любовно начищал он своего жеребенка.

«Ах ты, старый черт! Что же мудреного в том, что стал так хорош твой жеребенок?» И Угалук громко сказал:

— Доброе утро, друг! Чем это ты занят здесь в такую раннюю пору?

Хабли испуганно вздрогнул и оглянулся. Румянец залил его морщинистое лицо, глаза смущенно забегали.

— А, Угалук! Чего это тебя занесло сюда чуть свет?

— Чуть свет? Все-таки я попозже тебя пришел. Захотелось узнать, чем ты тут занимаешься.

— Заскучал я дома, попросил работы в колхозе. Вот и поручили мне за жеребятами ухаживать.

— Это хорошо, Хабли. Представь, и меня председатель попросил о том же.

«Догадываюсь я, как он тебя попросил, старый черт», — подумал Хабли, а вслух сказал:

— Мы, конечно, старики, но, — как это говорится, — лучше кость гладить, чем бездельничать... Да что это я? — спохватился он. — Ведь мне недосуг.

И Хабли опять рьяно принялся за своего жеребенка.

Угалук в нерешимости потоптался, а потом направился прямо к своему Соколу. Жеребенок шарахнулся от него. Угалук протянул руку, желая погладить его, но Сокол брыкнулся и тоненько заржал. Угалук, чтобы скрыть свою неудачу, воскликнул:

— Порода себя сразу показывает, никого близко к себе не подпускает.

— Если порода себя в трусости показывает, так породистее зайца не найдешь, — отозвался Хабли.

Угалук ничего не сказал. Постоял, подумал и поплелся за хлебом для жеребенка...

На нихасе старики сидели молча. Но, встречаясь в конюшне или на пастбище возле жеребят, они беседовали оживленно. Бывало, что и теперь подтрунивали друг над другом, но добрая шутка дружбы не рушит.

Минуло два года, шел уже третий. Жеребята выросли на диво: статные, красивые. Старики их начищали до атласного блеска.

«Строен, легок в движениях Сокол,—

ревниво замечал Хабли и тут же утешал себя.— Ну что же, и мой гордостью нашего колхоза станет».

Пришел однажды Хабли на конюшню чуть ли не до первых петухов, обласкал свое-го коня и стал поджидать друга. Но Угалук все не появлялся. Солнце уже поднялось, время гнать табун на пастбище, а Угалука нет как нет. «Не дай бог, не помер ли старый?» — встревожился Хабли, и сердце его заныло. Без Угалука жизнь не в жизнь. Хабли подошел к Соколу, который стоял нечищеный, и взялся за него, ласково покрики-вая.

Угалук, застав Хабли возле своего жере-бенка, сначала даже испугался. «Уж не хо-чет ли Хабли сделать порчу моему жеребен-ку?» — подумал он. Но, увидев, как Хабли любовно возится с Соколом, устыдился сво-ей мысли.

— Будь здоров, друг!

— Куда тебя аллах увел? — ласково уп-рекнул Хабли друга. — Почему опоздал?

— Родственник умер, последний долг от-дать надо было, — ответил Угалук. Он ды-шал прерывисто. — Со всех ног бежал, боял-ся, что Сокол на пастбище нечищеный пой-дет.

— Эх, что подумал! Да разве оставил бы я нашего жеребенка без присмотра?

Изумленно и с уважением взглянул Уга-лук на Хабли.

Так дружный труд и совместная любовь к лошадям взяли верх над завистью. Да и как было не любить красавцев коней? И каждый из стариков, выхваливая своего коня, погля-

дывал на товарища: все ли тот делает так, как нужно? И помогал в случае нужды.

Жеребята выросли, а старики незаметно привыкли жить новым, колхозным укладом. И дружба их окрепла, стала надежнее, сердечнее. Теперь они получали не только трудодни, но получили и премии: Угалук три, а Хабли две. Всякому лестно получить награду, но еще приятнее, когда на общем собрании тебя назовут «отличником».

Потому ли, что Угалука сопровождала старая слава знатока лошадей, или же еще почему, но хвалили его больше, чем Хабли. И тот однажды не вытерпел:

— Люди добрые, извините, хочу я слово сказать. Совсем тут дело не в том, что я хуже ухаживаю, а в том, что Сокол породистее моего жеребенка. Честью своею клянусь, не плохо ухаживаю я за своим. Угалук тому свидетель.

Никогда не говорил Хабли перед таким большим и почетным собранием. Он волновался и в конце речи совсем неожиданно сказал:

— А чтобы узнать, кто из нас лучше работает, дайте нам каждому по жеребенку одинаковой породы. Тогда увидим, кто лучшего коня вырастит.

Тут все захлопали в ладоши и закричали:

— Правильно, дать им одинаковых жеребят!

Хабли торжествующе улыбнулся, потом взглянул на Угалука, словно спрашивая: «Что ты об этом думаешь?»

Угалук встал, оглядел собравшихся и сказал, точно клятву дал:

— Пусть будет так. Вызываю Хабли на соревнование.

И в зале долго хлопали в ладоши.

На следующий день старики принимали новых жеребят. А вскоре они услышали радостную весть: будут проводиться районные скачки, и колхоз посыпает туда их питомцев. Старики, конечно, тоже пригласили на районные скачки. Но они, хотя и были польщены оказанной им честью, поехать отказались.

— Не могу я нового жеребенка оставить без ухода. Я соревнуюсь, — сказал Угалук.

— И я тоже не оставлю своего жеребенка. Я принял вызов Угалука, — ответил Хабли.

В день скачек старики ходили озабоченные и даже не разговаривали друг с другом.

«А что, если жеребец Хабли обгонит моего Сокола? — думал Угалук, но тут же отвечал себе: — Если обгонит, значит, вправду он лучше моего».

«Едва ли мой жеребец обгонит Сокола, — вздохал Хабли. — Ну так пусть же Сокол обгонит всех на скачках! Сокол — породистый конь. Он должен обогнать, он обгонит».

И вот к вечеру в колхоз поступило сообщение: Сокол вышел победителем, и ему присужден первый приз.

Все в колхозе радовались, наперебой поздравляли Угалука и желали ему долгой жизни. Хабли тоже от души поздравил старого друга.

На другой день в самый разгар работы Хабли вызвали в правление колхоза. «И на что я им понадобился?» — досадовал Хабли.

Председатель встретил его с почтением, спросил его о здоровье и тут же попросил сопираться в дорогу. Оказывается, в Дзауджикуа созывалось совещание лучших животноводов республики и Хабли вызывали на это совещание. Как забилось тут сердце Хабли! «Знают, кого вызвать!» Не чуя под собой ног, заторопился он домой порадовать жену. Длинна показалась ему улица. Но, проходя мимо дома Угалука, он замедлил шаг. «А что же Угалук? Или он не достоин такой чести? Лучше я останусь. Негоже обижать товарища».

И Хабли уже повернулся обратно, но тут увидел, что из ворот вышел Угалук. На нем были сафьяновые чуяки, белый бешмет, новая черкеска, кинжал с рукоятью из слоновой кости — все премии, полученные от колхоза. За Угалуком семенила Цоцканон и ласково наказывала:

— За собой следи, и в словах будь осторожный, и честь осетина береги.

— Эх, Цоцканон, свет мой, что я такое? Тело мое пепел... — завел было Угалук свою обычную присказку, но вдруг закончил по-новому: — В сердце моем загорелся огонь радости.

Хабли все понял и, как требует приличие, приветствовал друга и его Цоцканон.

Вот Угалука и Хабли с почетом посадили в сверкающую машину, и точно по воздуху понеслись они в город. Легко, как в молодости, дышалось Хабли. С молодой силой билось сердце Угалука, и казалось ему, высоко в поднебесье парит он, как сокол.

ЛАМПА

Старый Мухтар любит аккуратность во всяком деле. Из-за этого он кое с кем из колхозников иссорится. Да и как же не ссориться, скажите пожалуйста!

Сделал дело — и убери инвентарь, чтобы лежал в сухом месте, а не валялся в поле, — ведь он и ржавчиной может покрыться.

Любит порядок и аккуратность Мухтар и в своем доме. Вернувшись с работы, он все проверит, и если что не так, сделает как следует.

Особенно тщательно следит он за лампами: хорошо ли заправлены, достаточно ли керосина в запасе. Привычка следить за освещением в доме осталась у него с детства.

Когда он был еще мальчиком, — а было это давно, — дом освещался сосновыми луchinами. И на его обязанности лежало заготовлять их. Собственно, никто этого ему не поручал, но вся семья почему-то считала, что это должен делать Мухтар. Да и сам он так думал, хотя у него были и младшие, и старшие братья.

Однажды Мухтар заигрался и забыл про лучины. Когда он вошел во двор, отец закричал на него:

— Лентяй! Где ты шляешься целый день? Почему не принес лучины? Что мы будем делать без света, если корова начнет ночью телиться? А случись что с нею или с теленком, вы все насижитесь голодными!

Мухтар понял свою вину. В самом деле, что делать, если корова отелится ночью? Ему и в голову не пришло спросить, почему же другие братья вовремя не вспомнили об этом. Он думал только о том, что делать ему. Лес далеко; чтобы добраться до него, надо пройти два перевала. Засветло до него не доберешься, а ночью идти опасно: на дороге в двух местах есть обвалы. Но и не идти нельзя. И Мухтар, подбадривая себя, отправился в лес, где у него в расселине скалы был на примете подходящий сосновый пень.

Пока он щепал лучину, совсем стемнело. Мухтару стало страшно. В лесу, говорят, водятся волки.

Мухтар тронулся в обратный путь со связкой лучины. Он весь превратился в слух и испуганно озирался по сторонам. Вдруг недалеко мелькнули два огонька. Мухтар знал, что волчьи глаза горят, как огоньки, и, дрожа, остановился. Но сколько ни смотрел на огоньки, они не шевелились.

«Да это, должно быть, гнилушки!» — подумал Мухтар и, чтобы убедиться в этом, крикнул:

— Р-р-рай, лопоухий!

Но огоньки не шевельнулись.

Осмелев, Мухтар двинулся дальше. Не-



много погодя послышался шорох. Мухтар остановился и прислушался. Шорох приближался. Сердце опять заколотилось от страха. На пригорке блеснули четыре огонька.

Мухтар думал, что он уже пропал, и, закрыв глаза, бросился на большой валун.

Открыл глаза — нет никаких волков.

От страха у Мухтара подгибались ноги, но он шел насколько мог быстро. Выйдя на дорогу, он облегченно вздохнул, как будто впереди не было больше опасности и он не мог свалиться в темноте в пропасть.

Дойдя до опасного места, Мухтар стал

на колени и, ощупывая руками землю, пополз. Он хорошо знал дорогу, но, может быть, оттого, что ноги его дрожали, он вдруг поскользнулся и, хватаясь руками за камни, стал медленно сползать к обрыву.

Он понимал, что теперь ему уже не спастись, но все-таки хватался за камни.

Мухтар был уже на краю пропасти, когда ухватился за крепко сидящий в грунте камень.

Но долго ли он сможет так продержаться? Мухтар чувствовал, что слабеет и теряет последние силы, когда вдруг услыхал:

— Ие-и-и, Мухтар! Где ты?

Это был голос отца, который вышел на поиски мальчика вместе со старшим сыном.

С их помощью Мухтар благополучно добрался домой, и с тех пор всегда вовремя приносил луchinу.

Позже в доме появилась керосиновая лампа, — отец привез ее из города. С нею стало намного светлее и хлопот меньше: только керосину налей, больше ничего. Но и керосин покупать выпало на долю Мухтара, и он аккуратно носил его из лавки соседнего села.

Много времени прошло с тех пор, но старый Мухтар до сих пор не забывает каждый день проверять керосиновый бидон. И сейчас, войдя во двор, он прямо пошел к чулану. Дети могут ведь забыть о керосине, и тогда у них останутся невыученными уроки.

На сердце у старого Мухтара весело. Сегодня пустили электростанцию, и старики на радостях не один лишний рог выпили, но в этом ведь ничего плохого нет.

На улице еще сумерки, а в чулане уже совсем темно. Шаря в темноте рукой, Мухтар направился за бидоном. По дороге он задел его ногой, и тот зазвенел. Мухтар поднял бидон и поболтал. Керосина было чуть на донышке.

— Да не съест вас никогда болезнь живота! Ну что вы за девочки! Не принесли керосина и теперь не сможете уроки приготовить, — заворчал Мухтар.

Но тут открылась дверь чулана, что-то щелкнуло, и чулан осветился так, что Мухтар на мгновение зажмурился.

— Что ты делаешь в темноте, дедушка? — спросила его внучка.

Мухтар ответил не сразу. Он посмотрел на электрическую лампу, потом на пустой бидон в своей руке... Так вот отчего ему сегодня так весело!

«У советских людей и лампа такая же светлая, как их жизнь», — подумал он, и под его длинными седыми усами мелькнула улыбка.

Но чтобы внучка не догадалась о его промахе, сказал:

— Надо выбросить бидон. К чему он, теперь?

Мухтар понюхал горлышко бидона. Оно, казалось, никогда еще так сильно не пахло керосином, как сегодня, когда в доме в первый раз зажглось электричество, потом отнес бидон в самый дальний угол. Ведь больше он не понадобится!

ОШИБКА

1

По винограднику, расположенному на большой поляне среди густого леса, идет лесник Хетаг. Хотя лозы еще молодые, но урожай винограда небывалый. Большие, тяжелые гроздья, свисая до земли, ласкают взор.

Хетаг идет медленно. Временами он останавливается и поднимает тяжелую гроздь так осторожно, словно боится, что виноградины, как хрустальные бусы, рассыплются на его широкой ладони. Долго смотрит он на налитую гроздь, и кто знает, о чем думает, только под седыми усами появляется теплая, ласковая улыбка.

Выпрямившись, Хетаг оглядывает поляну и полной грудью вдыхает чистый лесной воздух. Сегодня стоит жара, но здесь, в лесу, прохладно. И каких только чудесных запахов тут нет! Хетагу кажется, что он чувствует, как пахнет каждая травинка. Возможно, что это так. Ведь он давно привык к лесу, еще с детства, и хорошо знает его.

И все же надо рассказать, почему у него, когда он смотрит на виноград, появляется улыбка.

В этот момент ему вспоминается его сосед, закадычный друг Сандыр, и вся история возникшей между ними ссоры, когда здесь еще не было виноградника и председателем колхоза был еще Сандыр. А Хетаг и тогда был лесником.

Однажды Хетаг зашел к Сандыру вправление колхоза и сказал ему:

— Сандыр, уж очень хороша поляна Состыка, а каждый год остается неиспользованной.

— По-твоему, Хетаг, у нас все остается неиспользованным, — шутливо ответил Сандыр.

— Не использованы пустующие земли местности Гулран, там необходимо посеять кукурузу. В лесу много красивых кленов, их надо посадить вдоль колхозных улиц и в парке. Пропадает много груш, яблок, кизила, винограда в лесу, и нужно организовать их сбор и обработку.

Сандыр, поняв, к чему ведет разговор Хетаг, перестал его слушать.

— Ну что ж! Если, по-твоему, это плохо, считаешь ненужным, то я с тобой не согласен. Богатства земли принадлежат народу, и ничего не должно пропадать. Но сейчас я зашел к тебе насчет поляны Состыка. Лес вокруг нее сплошь увит диким виноградом, значит, почва подходящая, и почему бы нам не развести там культурные сорта винограда?

— Да, там вполне может расти культур-

ный виноград, — не раздумывая, ответил Сандыр.

— Ведь если мы посадим там виноград, то не только для себя, но и на продажу будем иметь.

— Э, Хетаг, тут бы вовремя управиться с работами поважнее, а не с виноградником возиться, — махнув рукой, ответил Сандыр.

— Сандыр, ты пойми меня. Я ведь у тебя, кроме посадочного материала, ничего не попрошу. Всю остальную работу сделаю сам в свободное время.

— Ничего у тебя, Хетаг, не получится из этой затеи, — решительно заявил Сандыр.

Услышав вместо одобрения такой ответ, Хетаг обиделся и помрачнел.

Он даже подумал, зная, что Сандыр любит выпить, что тот, наверно, под градусом. Разве трезвый человек будет возражать против такого полезного дела?

Не сказав больше ни слова, Хетаг вышел, надеясь уловить более подходящий момент и тогда обстоятельно поговорить с Сандыром.

||

Спустя несколько дней после этого разговора Хетаг пробирался по густому лесу на поляну Состыка.

Всю дорогу он думал о том, как это Сандыр не может понять его. Ведь дело не только в одной этой поляне. Если на ней привыкнет виноград, — а в этом Хетаг не сомневался, — то много таких полян может он показвать в лесу: поляна с азалиями, желтые цве-

ты которой дурманят своим запахом; поляна, где в середине лета расцветают пышные ярко-красные цветы; поляна с одиноким старым кленом,— он мысленно видел их до мельчайших подробностей.

И, наконец, поляна Состыка, куда он держал путь. Эта поляна была больше и красивее других. По вечерам сюда приходили пастись серны с козлятами. В такие минуты Хетаг забывал, что он заядлый охотник, и, прячась за деревом, любовался «тонконогими». Козлята пасутся беззаботно, а матки, срывая травинки, то и дело испуганно оглядываются и жадно жуют.

Вдруг он остановился и внимательно прислушался. Нет, это не шелест листвьев. Откуда-то доносился звук косы. Но где же это может быть, если не на поляне Состыка?

Хетаг пошел быстрее, и не прошло и пяти минут, как он уже был на поляне. В высокой траве он увидел человека, который, плавно покачиваясь, косил.

Косарь не замечал Хетага. И когда Хетаг пожелал ему удачи в работе, он бросил косить, выпрямился, сдвинул на затылок черную войлочную шляпу и спокойно ответил на приветствие.

Это был Гогош Бибаев. Хотя Гогош и Хетаг были не из одного села, в лесу они встречались часто. Гогош тоже охотник, но если бы они встречались на охоте, тогда бы еще было полбеды. А дело в том, что колхозники не случайно прозвали Гогоша «лесной молью». Отработает Гогош минимум трудодней, чтобы его не исключили из колхоза, а потом запряжет трехгодовалого бычка — и в

лес. Возит на базар дрова и в тридорога про-
дает. У него и двор весь забит дровами, кото-
рые предназначены для продажи зимой.

При встрече он обычно говорит: везу, мол, не с твоего участка, но кто знает, может быть, и с участка, охраняемого Хетагом, — ведь лес-то велик, разве может охватить все один лесник?

Однако они всегда дружелюбно здоровают-
ся, беседуют о том, о сем, встречаются и на охоте, и тот, кто с ними близко не знаком, пожалуй, сочтет их хорошими друзьями.

Но Хетаг недолюбливает Гогоша потому, что тот увиливает от работы и не живет колхозной жизнью.

Не любит и Гогош Хетага за то, что он, Хетаг, зорко охраняет лес, за то, что он не подкупен. И теперь, хотя Гогош только косил траву, он все же с опаской посмотрел на Хетага.

III

— Кто разрешил тебе, Гогош, косить траву на этой поляне? — спросил Хетаг.

Даже наставленное в упор ружье не по-
действовало бы так на Гогоша, как этот спо-
койный вопрос. Он виновато улыбнулся.

— А разве и на эти поляны надо брать разрешение? Ведь в лесу не счешь таких по-
лян.

— Сколько бы их ни было, все же надо иметь разрешение. Тем более, что ты не из нашего колхоза. — И, осмотрев покос, как бы сожалея, добавил: — Потрудился ты хо-
рошо, а напрасно.

— Почему же напрасно? — спросил Гогош и, чтобы не дать Хетагу возразить (а Гогош знал, что тот с каждой минутой будет увереннее настаивать на своем), поспешил добавил: — Что из этого, если и пропадет мой труд понапрасну? Не всегда труд приносит пользу тому, кто работает. Пойдем в теник, посидим немного. Может, с аракой¹ не застрянет в горле мой чурек? — и лукаво улыбнулся.

— Арака... Хотя сейчас и жарко, но... — говоря это, Хетаг направился к дереву.

Гогош, не мешкая, достал из сумки жареные пироги, курятину, несколько яиц и разложил все это на сумке из козлиной кожи.

Разрезав пироги и разломив курятину, Гогош вынул из густой травы кувшин с аракой. На горлышке кувшина торчал большой разукрашенный рог.

Хетаг и Гогош сидели под ветвистым кленом. Прохладный ветерок доносил аромат цветов и скошенной травы.

И по мере того, как пил Хетаг, веселее становилось на душе Гогоша. «Арака смягчает человека, смягчается и Хетаг», — думал Гогош.

— Не нравится мне, как ты живешь, Гогош, — заговорил вдруг Хетаг о том, о чем давно собирался серьезно побеседовать с Гогошем. — Кажется мне, идешь ты не туда, куда люди идут.

— Почему тебе так кажется, Хетаг?

— Да потому, что народ на машинах и

¹ Арака — хмельной напиток, приготовленный из кислого молока.

тракторах впереддвигается, а ты на своем бычке, как рак, назад пятишься. Люди стремятся объединиться, а ты от них в лесу прячешься и, как моль, портишь его. По-дружески советую тебе: не отрывайся от колхозников, работай лучше и иди вместе со всеми вперед, к счастью.

— А разве у меня каждый год не бывает минимума трудодней?

— Минимум, минимум! — проворчал Хетаг. — Ты должен ежегодно увеличивать количество трудодней. А ты назад пятишься.

— Вполне возможно... Я еще до этого умом не дошел, — согласился Гогош. Он сейчас был готов во всем согласиться с Хетагом, лишь бы тот не упоминал больше о по-косе.

— Эх, Гогош, как я могу разъяснить твою ошибку, когда даже более умные люди указывают тебе, а ты хоть бы что. — Говоря это, Хетаг надел шляпу и, вставая, добавил: — Боюсь только, что как-нибудь ты выглянешь из леса, а мы уже будем в коммунизме.

— Тогда и я прибегу к вам, если разрешите, — пошутил Гогош.

— Но с какой совестью ты придешь последним, об этом тебе сейчас надо подумать. К лицу ли тебе быть в числе последних?

Хетаг замолчал. Он оглядел дальние холмы, покрытые густым лесом, и сказал:

— Жаль, что в такую жару ты напрасно потрудился.

Эти спокойные слова ударили Гогоша, как электрический ток. Он вскочил.

— Почему напрасно?

— Потому что косил без спроса.

— Нет, Хетаг, мне Сандыр обещал, — скороговоркой начал Гогош; но Хетаг спокойно продолжал:

— Сандыр не такой уж большой начальник, чтобы раздавать колхозные земли. Я с ним об этом сам поговорю. А ты больше не коси, накошенное оставь и отправляйся домой.

— Хетаг, дружище!..

— Ну, спасибо за угощение. Пропал твой труд, да что поделаешь, сам виноват. — Говоря это, Хетаг раздвинул ветви и углубился в чащу леса.

Гогош долго смотрел ему вслед, затем плюнул, взял косу и положил ее на плечо.

IV

— Скажи, ради бога, Хетаг, ты что, стал председателем колхоза? Почему ты морочишь мне голову? — упрекал Сандыр Хетага, когда тот настойчиво доказывал, что Сандыр не имел права отдавать Гогошу под покос поляну Состыка. — С каких пор тебя так беспокоят колхозные дела?

— С тех пор, как вступил в колхоз, — резко ответил Хетаг.

Выйдя от председателя, Хетаг решил написать о разговоре с Сандыром в районные организации. И когда спустя несколько дней из района прибыла комиссия, Хетаг ни от кого не скрывал, что в этом деле есть и его лепта. А Гогош к тому времени скосил всю траву на поляне Состыка и потихоньку убрал сено. Но сено не велика важность. Теперь Го-

гош задумал, пользуясь податливостью председателя, вспахать эту землю и посеять на ней кукурузу. Поляна хоть и невелика, да урожай там будет невиданный.

Своими мыслями Гогош поделился с женой. Для начала решили позвать председателя и Хетага в гости.

— Много ли им нужно? По стакану теплой араки да ласковое слово. Хорошо бы, хозяйушка, если бы ты кое-что приготовила.

Жена Гогоша хорошо знала, что необходимо прибавить к стакану араки и ласковому слову, и начала готовиться.

В один из осенних дней Гогош вышел из дома. На дороге беспрестанно раздавались сигналы машин, и ему то и дело приходилось отходить в сторону. Машины, полные кукурузы, мчались одна за другой. А в стороне от большой дороги караваном шли подводы, тоже груженные кукурузой.

— По ночам, что ли, не спят? Ишь, сколько спозаранку наломали кукурузы! — ворчал Гогош.

И зачем, собственно говоря, он задумал позвать гостей сегодня? До весенней пахоты еще много субботних вечеров... Только вот хозяйка всего наготовила, да и выпить хочется...

Неожиданно, будто кто их оповестил, Гогош встретил на границе двух сел Сандыра и Хетага.

Сандыр верхом на своей любимой булавной лошади ехал в район, а Хетаг с охотничьим ружьем возвращался из лесу в село. Сандыр был мрачен. А Хетаг оживленно рассказывал, как он убил ночью медведя.

После приветствий и добрых пожеланий Гогош сказал:

— Моя жена ежегодно в эту ночь устраивает угощение, и я шел к вам, чтобы пригласить на наш домашний праздник. Как бы вам трудно ни было, не поленитесь прийти к нам. Мы с женой будем очень рады.

— А что ж, Сандыр, — ответил Хетаг, — если это будет им приятно... Ты заедешь, возвращаясь из района, а я зайду домой, а оттуда к ним.

— Да, пожалуй, можно будет, — рассеянно сказал Сандыр. — Но если я запоздаю, не ждите меня.

Сандыр поехал в район, Хетаг направился к себе домой, и Гогош вернулся в свое село.

▼

— Лишнего много заставил приготовить. Можно ли съесть столько добра! — глядя на обильно уставленный стол, говорила жена Гогоша.

— Ничего, ничего, хозяйка. Эти расходы окупятся с лихвой, когда я вспашу поляну и засею ее отборными семенами.

— Перестань хлестать араку, кто за тебя с гостями будет пить? — заметила жена, видя, что Гогош усердно опрокидывает стакан за стаканом.

— Ты права, как всегда, надо воздержаться, — сказал Гогош и, как бы ставя точку, опрокинул полный чайный стакан араки.

Как раз в этот момент со двора послышался голос Хетага. Гогош тыльной сторо-

ной руки вытер губы и поспешил навстречу гостю.

Поздоровавшись с хозяйкой дома и пожелав ей доброго здоровья, Хетаг покосился на стол. Чего только там не было! Напротив места, где обычно сидит старший, на большом подносе лежала жареная индейка, рядом курица. Был здесь и салат, и чесночный рассол, и два больших графина араки.

Пробывшему весь день на свежем воздухе Хетагу хотелось есть, но, соблюдая приличия, он даже не смотрел на стол, разговаривая с Гогошем.

Сандыра пришлось ждать долго.

Наконец послышался во дворе его голос. Сандыр слез с коня, привязал его к плетню и пошел в дом, а встретивший его Гогош побежал к соседям, чтобы пригласить их к столу.

При таком обильном угощении должны были звучать громкие тосты, веселые песни. Но не радостно было за столом, печален был Сандыр. Его не расспрашивали. Все были уверены, что когда он выпьет, то развеселится, но и выпив, он оставался таким же печальным.

Тогда встал Хетаг и произнес тост за здоровье Сандыра. Сандыр посмотрел на него сердитыми пьяными глазами и резко сказал:

— Вместе с моими врагами ты добился того, чего хотел. Зачем же пьешь за мое здоровье?

— Пусть не будет у тебя врагов! Что я сделал тебе плохого? — спросил Хетаг.

— Что сделал? — зло произнес Сан-

дыр. — Как будто ты не знаешь решения вчерашнего собрания колхозников!

— Ничего я не знаю. Меня ведь не было в селе пять дней. А что решило общее собрание? — спросил Хетаг.

— Сняли меня с работы. Радуйся теперь, — говорил Сандыр таким тоном, что трудно было понять, упрекает ли он Хетага или жалуется ему на решение общего собрания. — Говорят, что я нарушил устав колхоза.

— Так вас с работы сняли? — раскрыл рот от удивления Гогош.

— Снять не сняли, а освободили от этой должности. Наконец-то у меня будет меньше начальников. А я на любой работе буду первым.

— Знаешь, Сандыр, — сказал Хетаг, — те, кого ты считаешь врагами, твои верные друзья. Ты их не слушал, вот они и выбрали другой путь, чтобы помочь тебе. И мы хотим, чтобы у тебя хватило мужества признать свою ошибку.

Тут Гогош переглянулся с женой. Хозяйка грустно покачала головой — столько добра пропало понапрасну! Гогош и сам это хорошо понимал, так же как и то, что теперь мечту о поляне придется выкинуть из головы...

Да, не досталась Гогошу эта поляна. А Хетаг посадил здесь виноград, и он уродился — лучше не надо. И Хетаг, взвешивая на ладони тяжелую кисть, широко улыбнулся.

ЕЕ РОЛЬ

В кабинете директора театра шло распределение ролей в новой пьесе, а собравшиеся в фойе актеры с нетерпением ожидали результатов.

Молодая актриса Рзиат волновалась, пожалуй, сильнее других. Она боялась, что ей не дадут хорошей роли, и заранее давала себе слово: если ей достанется неинтересная роль, она наотрез откажется от участия в спектакле. Но тут же спрашивала себя: «Как я могу отказаться? А театральная дисциплина? Ведь я комсомолка».

И, понимая, что она не может пренебречь даже самой незначительной ролью, она волновалась и сердилась еще больше.

Из кабинета директора вышел режиссер. По лицу его было видно, что он очень устал и заранее предвидит, что не все будут довольны распределением ролей и ему предстоит найти для каждого особо ласковые и убедительные слова.

Актеры молча ожидали сообщения режиссера.

Разиат стояла поодаль. Режиссер сначала называл фамилию артиста, а потом роль, которая ему поручалась. И вот была произнесена ее фамилия. «Скорей, скорей бы сказал, какая роль!»

Радостно заколотилось сердце, кровь хлынула в лицо, и оно разрумянилось, как красный шелк, когда режиссер медленно проговорил:

— Вам поручается роль старухи Гошед.

Думая только о своей новой роли, шла она из театра и не замечала прохожих. Перед ее взором стояла несчастная, беспомощная вдова, которую она должна была играть на сцене. Разиат еще неясно видела ее лицо, не совсем понимала ее характер, но тут же начала искать, обдумывать... Ночью Разиат не могла уснуть. Все яснее выступал перед нею образ старухи Гошед. Ее сгорбила тяжесть жизни. Морщины прорезали лицо. Но она продолжала стойко бороться против козней судьбы.

Образ старухи вырисовывался отчетливо. Но Разиат еще не была довольна собой. Перед ней пока был только рисунок. Раньше чем вынести на сцену, его надо наполнить жизнью, горячими чувствами.

Разиат заснула. Ей снилось, что она сама превратилась в старуху. Вот она несет корзину с навозом на свой клочок земли по каменистой тропинке, все вверх и вверх, круто в гору.

Как она устала! Ноги подкашиваются. Тело обливается потом. Но, превозмогая себя, она поднимается все выше.

Узенькая тропинка вьется над бездонной

пропастью. Хватаясь за острые выступы скал, старуха еле ползет по тропинке. Вдруг ее корзина с навозом зацепилась за выступ, и, не удержавшись, старуха вместе с корзиной покатилась в пропасть. Разиат закричала... и проснулась...

Сердце ее громко стучало, тело было разбито усталостью, словно она наяву пережила все это. И как обрадовалась она, поняв, что это был только сон.

Шли дни. Разиат продолжала работать над ролью. Она ходила по улицам, по базару, наблюдая за старухами крестьянками, приехавшими в город. Но следы прошлой мучительной жизни почти совсем изгладились на их лицах, трудно было в образе и поведении крестьянок их пристриметь. Разиат даже побывала в соседних селах, но и это мало ей помогло.

До премьеры оставалось совсем мало времени, когда к Разиат из глухого горного аула приехала в гости мать.

— Посмотрю-ка,— сказала она,— чему ты так долго училась, чему тебя выучили.

Дочь целыми днями готовилась к премьере. Взвалив что-нибудь на плечи, она ходила сгорбившись так, точно несла непосильную ношу. Цепляясь за стены комнаты, она по-старушечьи стонала:

— Ой, не могу больше... Долго ли жить мне еще в мучениях? Или богу приятно смотреть на мои муки? Хоть бы умереть мне!

«Что это за шутки над нашей тяжелой жизнью?»— обиженно думала мать. Однажды вечером она не вытерпела и сказала дочери:



— Если тебя столько лет учили этому, то не ученье тут было, а баловство!

Разиат промолчала.

— Не пойду я смотреть такие глупости,— ответила мать, когда дочь пригласила ее на первый спектакль. Но подруги Разиат стали уговаривать старушку, и она нехотя согласилась.

В театре старушка села подальше от сцены. Зал был полон, и это было приятно матери: вон сколько людей пришло посмотреть

на ее дочь! Неужели Рaziат будет всем этим людям показывать то, что она выделяла дома? Нет, наверно, она покажет что-нибудь достойное.

Вот плюшевая стена занавеса раздвинулась, и мать увидела горы, громадные горы, среди которых прожила всю свою жизнь. На краю пропасти, на клочке земли, какой-то старичок и молодая девушка работали на своем маленьком поле.

Мать ожидала увидеть дочь, но ее здесь не было. Только, цепляясь за скалы, карабкалась вверх какая-то дряхлая худенькая старушка, держа корзину навоза, едва ли не большую, чем она сама. Вот старуха споткнулась и упала.

— Сколько еще назначено мне судьбою жить в мучениях? — сказала она.

Мать забыла обо всем. Слезы полились по ее морщинистым щекам. Прошлая жизнь въявь встала перед ней. Но она все ждала, когда же на сцену выйдет ее дочь, и, опасаясь, что сквозь пелену слез не увидит ее, она утирала глаза, но они снова заволакивались слезами.

— Иссякла сила моих ног, совсем состарились я, да еще и ревматизм замучил, — слышались со сцены слова старухи.

И тут мать по голосу узнала свою дочь. Точно частый град, покатились слезы, и она уже не утирала их.

Как только закрылся занавес, мать вскочила с места и заторопилась к дочери на сцену. Она встретила Рaziат в коридоре: дочь шла к себе в уборную. Рaziат была озабочена, ей казалось, что она сыгра-

ла не так, как нужно, и была недовольна собой.

— Дочь моя, сними с себя это одеяние и больше никогда его не надевай,— сказала мать.

— Почему?

— Не идет тебе это, не годится его сейчас носить.

— Как же мне не надевать его?— удивленно спросила дочь.— Ведь я играю роль.

— Очень долго, всю жизнь ходила я в такой роли, и мне даже вспоминать о ней не хочется, хватит с нас и этого. Другую роль надо тебе играть, а эту забудь навсегда.

И тут Разиат весело рассмеялась — она поняла, что роль удалась ей. Обняв мать, она быстро увлекла ее в свою уборную.

— Ну, не чародеи ли вы, молодежь? — сказала мать, глядя, как несчастная старуха снова становится ее красивой, веселой дочерью.— Ведь ты прошлую жизнь и краем глаза не видела, а как ее передаешь!

— Но я знаю твою жизнь, мама,— ответила дочь.

1951

ЖУРАВЛЬ БИП-БИП

1

Наступила осень. Поля потемнели, зато лес стоял раскрашенный пестро и ярко. Были здесь листья желтые, как яичный желток, были красно-оранжевые, были и светло-лимонные... Только сосны сохраняли свое вечнозеленое платье.

Небо оставалось чистым: ни тумана, ни облаков,— но теперь оно было не ярко-голубым, как летом. Осенью к его синеве словно подмешали серую краску. Лучи солнца падали уже косо и не грели, как летом.

Для всех животных осень — время беспокойства и неприятностей. Белки и мыши заняты тем, что запасают на зиму орехи, семена, чтоб за долгую зиму не умереть с голоду. Медведи и лисы натасывают в свои логовища побольше мягкой сухой травы, чтоб не замерзнуть в пору зимних холодов. Все звери, каждый по-своему, готовятся к зиме.

Но никому не приходится так тяжело, как перелетным птицам. По каким далеким и трудным воздушным путям придется им ле-

теть! И, конечно, не всякая птица долетает до юга — многие погибают в пути. Пожилые журавли из стаи Куырруя хорошо знали об этом.

Самым старшим в журавлиной стае был Куырруй. Четыре раза совершал он перелеты на юг и четыре раза невредимым возвращался обратно. Три раза летал он впереди всей стаи и был признанным ее вожаком. На этот раз ему опять предстояло вести стаю, потому что ни один журавль не знал так хорошо пути перелета, как знал их Куырруй.

Нелегкое это дело — быть вожаком, который отвечает перед стаей за жизнь каждого журавля. А молодых журавлей, которые совершают перелет впервые, нужно оберегать особенно тщательно, — ведь среди них попадаются шаловливые, глупенькие. Они еще и не подозревают о трудностях перелета, но с нетерпением ждут его. Им лишь бы полетать подольше — что им еще надо?

Куырруй знал, что если не присмотреть за молодыми, то они захотят в полете опередить вожака, выбьются из сил и не долетят до юга. А бывает, что они нарочно отстают от стаи. Такие проделки нарушают строй перелета. Случается, что молодой журавль, отбиваясь от стаи, так и погибает.

II

Очень был озабочен предстоящим перелетом вожак журавлиной стаи Куырруй. Бывало, он, спрятав голову под крыло, часами стоял на одной ноге и, казалось, спал.

Но не до сна было Куыррую. Он стоял, и

ему представлялось, как они будут лететь над полями, над городами, как минуют горные села. А потом журавлям предстоит перебираться через самые горы.

Тroe старших в стае журавлей в эти дни перед перелетом не отходили от вожака. Хотя они и считались старшими, но все же были моложе Куырруя, и ни одному из них ни разу не пришлось вести стаю.

— Ну так что же, Куырруй, когда мы полетим? — спрашивали они. — Синицы, ласточки и даже перепелки начали свой перелет. Уже несколько стай северных журавлей пролетело над нами.

Но Куыррую надо было серьезно подумать, прежде чем ответить на этот вопрос. Он ведь и сам видел, как, словно тяжелая туча, поднимались перепела. Окрестности оглашались шлепаньем перепелиных крыльев, по воздуху волнами расходились звуки «бырриу-брру», «бырриу-брру». И с одного берега реки перепела перелетали на другой.

Что и говорить, нелегко приходится перепелам. К осени они так жиреют, что им трудно подниматься в воздух. Поэтому-то перепела, полетав немного, снова опускаются. Отдыхают. Побегают, побегают — и опять взлетают.

Совсем не то синицы или ласточки! Птички они легкие, крылья у них сильные. Глазом не успеешь моргнуть, а синички — «цвит-цвит» — пролетели, и не увидишь их. Ласточки собираются большими стаями. Они долго кружат в воздухе, — наверное, для развлечения, — и после этого уносятся прямо в теплые края.

Ну, а журавлям, гусям и другим их родичам, птицам крупным и тяжелым, летать нелегко. И летят они тяжело, равномерно взмахивая крыльями, и при полете громко переговариваются друг с другом, советуются и предостерегают тех, кто помоложе, чтобы никто не оторвался от стаи и не заблудился.

Куырруй знал, что журавлям перед полетом нужно хорошенъко попастись, набраться сил.

Бывало, старшие журавли спрашивали:
— Когда же наконец мы полетим?

Куырруй, не повышая голоса, отвечал:
— Подождем, еще немного подождем.

Пусть молодые журавли наберутся сил, окрепнут. До теплых стран быстрее добирается не тот, кто раньше улетает, а тот, кто больше сил накопит для полета.

И тогда старшие журавли оставляли в покое Куырруя. Они шли к молодым и говорили им:

— Паситесь, вволю паситесь, птенчики наши. Хорошенько наедайтесь, сил набирайтесь. Скоро мы полетим, и тому, кто будет слаб, трудно придется.

III

Самым резвым и легкомысленным среди молодых журавлей слыл Бип-бип. Он был также и самым младшим во всей стае, так как последним вылупился из яйца. Другие птенчики медленно, подолгу пробивались сквозь скорлупу яйца, а этот своим белень-

ким остреньким клювиком враз проломил себе дверь на свет и очутился на воле.

Мать, увидев мокренского Бип-бипа, даже вскочила на свои тонкие и длинные ноги, так поразил он ее своей резвостью.

Конечно, Бип-бип, вылупившись из яйца, был еще совсем слабенький. Он не мог держаться на ногах, и голова его тяжело свисала к самой земле. Но не прошло и дня, как он стал бегать и вместе с матерью добывать себе корм.

Шустрым и резвым оказался Бип-бип, и мать привязалась к нему больше, чем к другим своим птенцам.

Даже вожак стаи, Куырруй, полюбил его и не раз прощал шалости ему.

Часто бывало, что в поисках корма Бип-бип далеко уходил от стаи. Он знал, что это грозит ему опасностью. Но вместо того, чтобы поскорей вернуться домой, он пищал жалобным, тоненьким голоском, как будто попал уже в лапы лисы:

— Би-и-п! Би-и-п! Би-и-п!

Встревоженная стая бросалась в ту сторону, откуда слышен был этот жалобный писк, чтобы поскорей спасти Бип-бипа. Первым прибегал Куырруй, за ним — мать Бип-бипа.

И тут Бип-бип, втайне посмеиваясь над старшими, уже совсем по-другому — спокойно попискивал:

— Бип, бип, бип! Бип, бип, бип!

И Куырруй, довольный тем, что Бип-бип остался в живых, успокоительно вторил:

— Куырриу! Куырриу!

Так и прозвали писклявого журавленка

«Бип-бип». И хотя Бип-бип к осени стал уже взрослым и не мог больше произносить свое «бип-бип», а ломающимся голосом выкрикивал «куырриу», все же его детское прозвище осталось за ним.

И сейчас, накануне перелета, Бип-бип вел себя гораздо резвее своих сверстников. Он и сам не хотел больше пастьись, и мешал пастьись другим журавлям, пощипывая их своим длинным клювом. Когда над стаей пролетали чужие журавли, Бип-бип непременно взлетал к ним.

— Я улечу с ними! — кричал он сверху старшим. — А то вы никогда не двинетесь с места!

Тут старшие журавли поднимали крик, предостерегая Бип-бипа. А он, довольный тем, что напугал и подразнил старших, делал несколько кругов и опускался к своим.

IV

Наконец время перелета настало. Вся стая собралась вместе. Журавли ждали сигнала старого вожака. Теперь глаза Куырруя поблескивали отвагой, сила и опытность чувствовались в важной походке, в каждом движении длинной шеи вожака. Он был постоянно весел, и, поглядывая на него, повеселела вся стая.

— Ну, летим или нет? — спрашивали младшие Куырруя.

— Скоро, теперь скоро, птенчики вы мои!.. — отвечал им вожак.

Однажды утром, едва взошло солнце,

сверху послышались отдаленные крики пролетавшей журавлиной стаи.

Куырруй поднял голову, посмотрел на эту стаю и сказал:

— Опытный у них вожак, по голосу слышно.

И Куырруй долго глядел вслед пролетевшей стае. Потом взглянул на солнце, уже поднявшееся над землей. И тут, в последний раз окинув взглядом свою стаю, Куырруй вдруг, разрезая грудью воздух, побежал вперед, несколько раз тяжело взмахнул крыльями и оторвался от земли. Сразу же за ним взлетел Бип-бип, который еле сдерживался, чтобы не подняться в воздух раньше вожака. Один за другим поднимались журавли, и последними взлетели самые старшие, так как их обязанностью было лететь, замыкая строй. Мало ли что может приключиться в перелете с молодыми, неопытными журавлями, и надо, чтобы в пути — и спереди и сзади — их оберегали старики.

Высоко поднялась стая. Никогда Бип-бип не взлетал на такую высоту, и теперь он гордился и радовался. Но скоро ему наскучило лететь в строю. Захотелось отделиться от стаи, подурачиться и пошалить, а то и подразнить старших, как это не раз удавалось до перелета. Но он до поры до времени сдерживался и продолжал лететь в общем строю.

— Куырруй! — выкрикнул вожак.

— Куырриу! — ответили ему старшие журавли.

Так на каждый окрик журавля «куырруй» старшие журавли отвечали своим «куырриу».

Бип-бипу сначала казалась смешной эта перекличка. Но потом он и сам стал подражать старшим и в ответ на оклик Куырруя кричал свое «куырриу». Довольно пискляво звучало это «куырриу», но вожак Куырруй был счастлив, когда слышал тоненький голосок Бип-бипа. А случалось, что Бип-бип забывал ответить на оклик вожака, так как в диковинку ему были леса, поля, села, города, железные дороги, заводы и электростанции, над которыми они пролетали.

Ему хотелось знать обо всем, что мелькало внизу, о каждом незнакомом предмете, а незнакомых предметов так много встречалось на пути! Бип-бип обо всем расспрашивал Куырруя. Он был уверен, что нет ничего на свете такого, чего бы не знал старый вожак. Но Куырруй на одни вопросы отвечал быстро, на другие — неохотно. А были и такие вопросы, которые вожак заглушал своим «куырриу», явно не желая отвечать на них. Да и что мог ответить Куырруй любознательному Бип-бипу, когда и сам порой был удивлен тем, что видел.

— Почему лес, над которым мы пролетаем, тянется ровной полосой и не видно этой полосе ни конца, ни начала? — спросил раз Бип-бип у Куырруя.

Что мог ответить старый Куырруй на этот вопрос? Разве мог он знать, что это за лес, не похожий на другие леса. Он помнил только, что при первом перелете здесь были пустынные степи. Не то что леса, но и однокого кустика нигде не видно было в этих местах.

Когда же он летел во второй раз, появив-

лись внизу какие-то едва заметные зеленые черточки. С каждым перелетом они становились все гуще и — вот погляди! — превратились в густые полосы леса.

Смотрел Бип-бип на землю и видел много интересного. Величаво и спокойно текли широкие реки, и по их блестящей, почти зеркальной поверхности проплывали большие суда. Густые леса и огромные заросли камыша росли по берегам этих рек. Длинные мосты перекидались через воду, и поезда, машины, подводы двигались по мостам.

В голубом изгибе реки покачивались рыбачьи лодки. Здесь можно было бы полакомиться мелкой рыбешкой, но не смел Бип-бип один спуститься вниз...

Впервые увидел Бип-бип горы. Основания их были покрыты густым осенним лесом. Выше лесов, на покатых горных лугах, видны были зеленые травы, и пестрые цветы мелькали среди сочной зелени.

С гор сбегали маленькие речки; они пенились на каменистых порогах, серебром сверкали в лучах солнца и стремились на просторы равнин. Мосты, перекинутые через эти речки, коротки, невелики; лесов больших по берегам горных рек не заметно, а камыша и вовсе нет.

Зелень совсем исчезла, только горные кручи и голые скалы видели под собой журавли. Еще выше, на горных вершинах, поблескивали ледники.

Чем ближе к вершинам, тем тяжелей взмахивал крыльями Кырырруй. Все чаще и тревожней окликнул он стаю, словно призываая каждого журавля строго соблюдать по-

рядок перелета и не вырываться из общего строя.

Когда журавли пролетали над равниной, Куырруй охотно отвечал Бип-бипу на его вопросы. Здесь же, над горами, вожаку все чаще приходилось выкликать свое тревожное «куырруй», и нёкогда ему было отвечать на вопросы Бип-бипа.

▼

Давно уже летит стая, а Бип-бип себя чувствует так, точно они только что поднялись. Усталости никакой. А ведь задолго до перелета Куырруй неоднократно наставлял молодых, неопытных журавлей:

— Набирайтесь сил, птенчики мои. Даже опытные журавли устают во время перелета. Места посадок, на которых можно будет отдохнуть, находятся далеко друг от друга.

«Уж не запугивал ли нарочно нас, молодых, старый Куырруй?» — подумал Бип-бип. Находиться в строю ему надоело. Почему бы не перелететь в чужую журавлиную стаю, крики которой все время доносятся издалека и точно подразнивают?

И вот Бип-бип вырвался из общего строя и направился в ту сторону, откуда доносились крики чужой стаи.

— Куырруй! Куда? — сердито кричал Куырруй.

— Куырриу! Не волнуйтесь, я скоро прилечу.

Очень встревожился Куырруй. Но не мог

же он оставить стаю и полететь вдогонку за Бип-бипом! А Бип-бип неопытен и, конечно, может сбиться с пути.

Бип-бип все сильнее забирал в сторону. Ему было очень весело, и он вовсю махал крыльями, совсем не рассчитывая своих сил. И когда до него долетел испуганный голос Куырруя, призывающий Бип-бипу скорее вернуться, Бип-бип был доволен.

«Видно, стал беспокоиться обо мне», — думал он и задорно отвечал на тревожный призыв. Но с каждой минутой вожаку все труднее было улавливать ответные крики Бип-бипа. Да и Бип-бип тоже плохо слышал Куырруя. Зато голоса чужой стаи слышны теперь хорошо.

Но вот до слуха Бип-бипа донесся какой-то непонятно грозный гул, словно крылья огромной птицы прошумели над ним. Это был тяжелый, сотрясающий воздух грохот. Он усиливался с каждой минутой, и Бип-бип беспокоился все сильней и сильней. Лететь дальше? Или вернуться к своим? Но тут в синеве неба показалась эта грохочущая птица. Она летела прямо на Бип-бипа. Много птиц видел Бип-бип за свою короткую жизнь, но эта не походила ни на одну из них. Она была такая большая, что если бы всю журавлину стаю соединить воедино, то все равно это чудище оказалось бы крупнее.

— Куырриу!.. — метнувшись в сторону, крикнул Бип-бип.

Он изо всех сил взмахивал отяжелевшими крыльями, пытаясь уйти прочь от страшной птицы, но она все приближалась. И вот

она поравнялась с Бип-бипом. Пролетела мимо и скрылась, оставив после себя ураган... Бип-бипа подбросило, швырнуло в сторону, и он кувыркнулся вниз...

А старому, опытному Куыррую самолеты были не в новинку. Издали увидев созданную человеком могучую птицу, Куырруй сразу определил, куда она летит, и благополучно увел стаю от опасности.

Самолет улетел, но теперь нигде уже не было видно Бип-бипа, не слышно и его озорных выкриков. Опечалился старый Куырруй: Бип-бип мог по неопытности оказаться на пути самолета, и тогда ему конец.

Куырруй стал делать круги над местностью, и вся стая послушно следовала за ним. Во весь голос звал Куырруй Бип-бипа, но не слышно было ответа и нигде не видно непослушного журавленка.

А ведь стая надолго задерживаться в пути не могла: надо пролететь вовремя назначенную часть пути. Задержавшись из-за одного Бип-бипа: можно погубить всю стаю.

И Куырруй уже готов был продолжать путь, как вдруг откуда-то снизу до него до несся слабый голос Бип-бипа:

— Куырриу!

И очень обрадовался Куырруй: «Стало быть, жив Бип-бип».

Делая широкие круги, опускался все ниже и ниже Куырруй, а за ним следовала вся стая.

Они увидели Бип-бипа возле стога. Он стоял взъерошенный, дрожащий. Когда Бип-бип потерял сознание и упал на землю, он,

на свое счастье, шлепнулся на солому — это спасло его от смерти...

— Хорошо, что ты жив! Взлетай скорее к нам! — призывал Куырруй, делая в воздухе круги над Бип-бипом.

Бип-бип никак не мог прийти в себя и не понимал, как он спасся от этой никогда не виданной большой и страшной птицы.

А в селе, расположенном неподалеку, засуетились, выбегали люди:

— Журавли опустились!

— Вожака у них, наверное, убили, вот они и опустились.

Еще один круг сделала стая над Бип-бипом — и вот он взмахнул крыльями, поднялся в воздух и занял свое место в строю.

Люди кричали, махали руками, но стая улетала все дальше.

Куырруй, как всегда, был впереди и ласково укорял Бип-бипа:

— Веди себя как следует, дорогой наш птенчик. Подобные шалости могут погубить тебя и других.

Ничего не отвечал на это Бип-бип — он понимал свою вину.

VI

Неторопливо и мерно взмахивая крыльями, Куырруй стремился вперед, все вперед.

Но из-за Бип-бипа было потеряно много времени, и трудно было его наверстать.

А главное — Куыррую казалось, что он как будто бы сбился с пути. В его криках все чаще слышались сомнение и тревога.

Он поворачивал голову во все стороны и

все же не узнавал местности. В прошлом году здесь была безводная пустынная степь, а сейчас внизу он видел многоводную реку, по ней, дымя, сновали пароходы.

И вожак кричал все тревожней.

Впервые услышал Бип-бип в голосе своего вожака испуг, растерянность и удивился. Он думал, что Куырруй ничего на свете не боится.

— Куырруй, что с тобой? — спрашивали журавли.

— Похоже, что мы сбились с пути! — мрачно отвечал Куырруй.

Он решил вернуться назад, до первого знакомого места, и еще раз тщательно проверить пути перелета. Ведь до того, как Бип-бип отбылся от стаи, они летели правильно.

Куырруй был вожаком стаи, но все-таки голова у него была не человеческая, а птичья, и не мог он понять, что люди за лето прорыли канал, соединявший две реки, и теперь здесь из моря в море могли ходить пароходы.

А Куырруй, разглядывая местность, делал все более широкие круги. И вдруг подумал, что лучше всего будет перелететь через реку и лететь дальше. И ожидания его оправдались. За рекой ему стали попадаться знакомые приметы, и он опять уверенно повел стаю. Но много времени было потеряно. Журавли стали уставать. Особенно молодежь. Но, конечно, больше всех устал Бип-бип: он еле поднимал свои отяжелевшие крылья. И когда ему хотелось крикнуть «куырриу», у него получалось нечто вроде «би-и-п».

Очень хотелось спуститься на землю Бип-бипу, но Куырруй все летел и летел вперед. А сам Бип-бип, наученный горьким опытом, боялся вылететь из строя.

День сменился вечером, вечер перешел в ночь. Журавли продолжали лететь в густом тумане. Потом они попали в полосу дождя и ветра. Лететь стало невыносимо тяжело. Но Куырруй продолжал вести свою стаю. Прошло еще несколько часов, и Куырруй начал опускаться на землю. Журавли приободрились — значит, долгожданная стоянка близка!

Вдруг в ночной тишине послышался снизу плеск воды, и Куырруй испуганно крикнул:

— Поднимайтесь снова вверх! Здесь опять не то река, не то озеро!

И, с трудом махая усталыми крыльями, журавли поднялись опять.

Куырруй ничего не мог понять. Здесь, где была когда-то стоянка журавлей, широко простиравшее море.

Куыррую со своей стаей просто негде было опуститься. Но и продолжать свой путь журавли не могли: сильно устали. А тут еще дождь, ветер...

Покружился в воздухе Куырруй и решил: «Надо лететь дальше, ничего лучше не придумаешь». И они полетели над морем — большим водохранилищем, созданным людьми.

Стая продолжала лететь за вожаком и на его «куырруй» отвечала «куырриу».

Миновали журавли море, и только появились опять знакомые предметы, как Кыррую снова показалось, что они сбились с пути. Следующая стоянка журавлей находилась возле маленькой деревушки. Бывало, когда журавли ночью пролетали здесь, то из окон домов пробивались еле заметные тусклые огоньки. А сейчас над деревней стояло ровное светлое зарево, слепившее глаза, несмотря на дождь.

С ума, что ли, сошел ты, старый Кырруй? — спрашивал себя вожак. — Или голова у тебя кружится? Или потерял ты на старости лет верное направление?»

И он решил опуститься ниже, а за ним стала опускаться вся стая.

И деревня была та же, и дома в ней были те же. Но откуда здесь взялось столько света?

Колхоз в этом году построил электростанцию, но Кырруй не мог знать об этом.

Журавли летели чересчур низко, то и дело окликая своего вожака. Туман и дождь все усиливались, все громче слышен был тревожный призыв Кырруя.

И вдруг Бип-бип, летевший сразу же за Кырруем, камнем стал падать вниз. Он и без того изнемогал от усталости, а тут еще этот электрический свет внезапно его ослепил.

Кырруй призывал Бип-бипа подняться и присоединиться к стае, иначе ему грозит гибель. Но Бип-бип больше не владел собой, он, падая, ударился о туго натянутую проволоку, и во все стороны полетели его белые перья.

Куырруй видел, как деревенская детвора со всех сторон сбежалась к Бип-бипу, один из мальчиков схватил его и поднял с земли.

Тут люди заметили и Куырруя, летевшего на уровне крыши.

— Журавли, журавли! — кричали они со всех сторон.

Люди бежали за Куырруем, но он уже поднялся вверх. Журавли летели над селом и растерянно перекликались.

Долго Куырруй кружился в темноте ночи, собирая журавлей.

«Бип-бип погиб, ему ничем не поможешь, надо спасать стаю!» — подумал он.

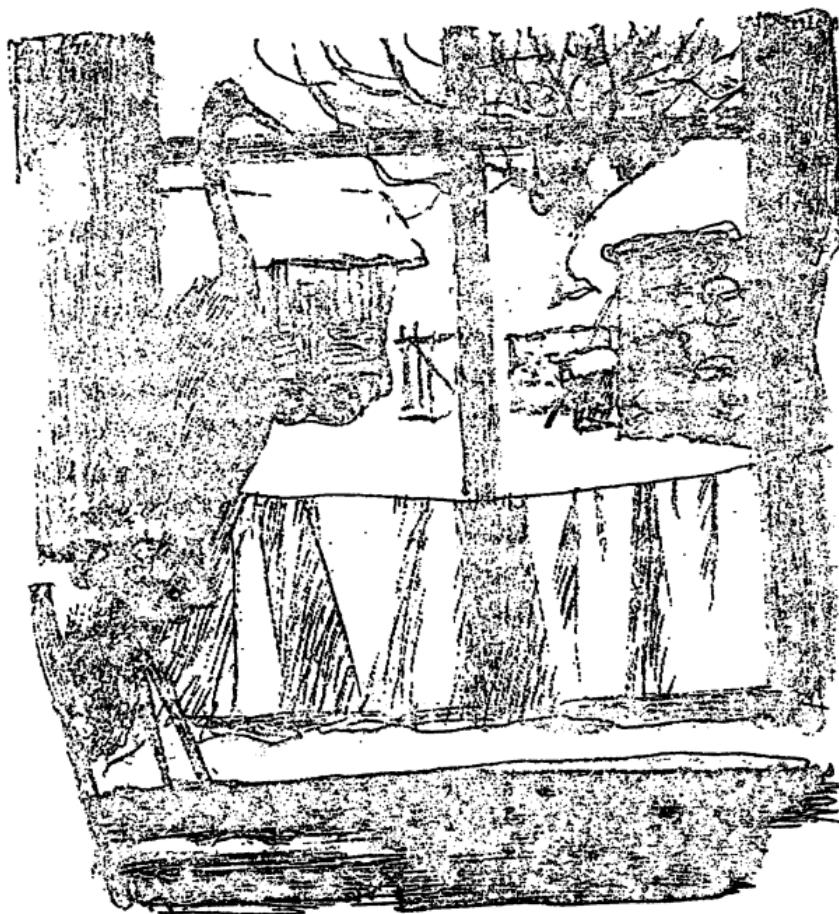
VIII

Бип-бипа принесли в теплую комнату, к девочке Варе. Крыло Бип-бипа болело и свисало до самого пола. Варя подвязала его белым бинтом и уложила Бип-бипа на бок. Она ни на шаг не отходила от него. Порой у постели Бип-бипа появлялись те два мальчика, которые подняли его и привнесли сюда.

В первые дни Бип-бип ничего не ел. Не потому, что болело крыло: он очень боялся людей.

Но вот уже несколько дней провел Бип-бип в комнате Вари, а ничего плохого не сделала ему эта девочка. Наоборот, она прикрыла его старой, мягкой шубенкой, ласково гладила его и все время подсовывала пищу. А Бип-бипу и самому очень хотелось есть.

Скоро Бип-бип перестал бояться людей.



Оставшись один, он поклевывал то, что ему приносили. К Варе он так привык, что скучал, когда она уходила из комнаты, а ведь девочке каждый день нужно было ходить в школу.

Варя понимала, почему так скучает Бип-бип: еще совершали перелет последние стаи журавлей, и Бип-бип, услышав их крики, высоко поднимал голову, в глазах его появлялся блеск, он взмахивал здоровым крылом... Но стая пролетала, где-то вдали про-

падали ее призывные крики, и на Бип-бипа нападала тоска.

На дворе становилось все холоднее, потом выпал глубокий снег: журавлиных криков больше не было слышно.

Бип-бип к тому времени уже поправился. Он свободно ходил по комнате. Крыло теперь не свисало, как раньше, а плотно прилегало к телу — так же, как другое, здоровое крыло.

На своих длинных ногах расхаживал Бип-бип по всей комнате. Он даже мог, вспрыгнув на стул, глядеть в окно.

На дворе под лучами солнца весело сверкал снег. Вот бы погулять там! Бип-бип еще ни разу не выходил из комнаты, и ему казалось, что на воздухе так же тепло, как в комнате. Он даже добирался до дверей, которые вели во двор...

Но едва открывалась эта дверь, как в комнату врывались клубы такого холодного воздуха, что Бип-бип со всех ног бежал в свой теплый угол. И у него отпадало всякое желание выйти во двор. Он даже близко не подходил к дверям.

Стоя на одной ноге и засунув голову под крыло, с печалью вспоминал он свою стаю. Где сейчас его друзья детства? Где заботливый старый Куырруй? Наверное, неплохо живется им в неведомых теплых странах... Что же, и Бип-бипу не на что жаловаться! Варя его вкусно кормит, гладит мягкой ладошкой и приговаривает что-то ласковое. Ходит Бип-бип не по холодной земле, а по теплому полу... Но все же лучше всего быть среди своих...

Соседские мальчики, приходившие в гости к Бип-бипу, видели, что он скучает. Они умели подражать крику журавлей, и вот однажды со двора донесся до Бип-бипа давно не слышанный им звук:

— Куырриу! Куырриу!

Бип-бип поднял голову, вскочил и, взмахнув крыльями, подбежал к дверям. Но журавлиные крики прекратились. Зато Бип-бип весь этот день был весел, высоко держал голову, весело расхаживая по комнате.

Теперь все чаще со двора доносились журавлиные крики, и это радовало Бип-бипа.

IX

Дни проходили за днями, и вот настала весна. Бип-бипа выпустили на волю, и теперь он гулял по всему двору. Бывало, что даже взлетал на крышу дома и плавно опускался на землю. Никто ему не мешал, и если бы он захотел, то мог бы и улететь. Да только не знал он, где его родная стая, куда ему лететь.

И вот пришел день, когда он опять вдруг услышал журавлиные крики. Сердце его затрепетало... Журавлиная стая пролетала над его головой. Но не слышал он призывающего крика Куырруя, а лететь за чужим во-жаком ему не хотелось.

Назавтра Бип-бип снова гулял по двору. Тут же были и Варя, и те два мальчика, что подняли Бип-бипа. Теперь они стали его приятелями. И тут вдруг Бип-бип услышал с вышины:

— Куырруй!.. Куырруй!

— Куырриу!.. Куырриу! — отвечала стая.

Узнав голос Куырруя, Бип-бип запрыгал на месте и замахал крыльями. А стая, подлетая к селу, опускалась все ниже.

Это Куырруй хотел при дневном свете лучше рассмотреть то место, где погиб его любимый Бип-бип. И журавли, опускаясь вслед за Куырруем, грустно кричали. Но особенно печален был голос вожака Куырруя.

И тут вдруг журавли увидели, что над селом кружится Бип-бип! Это он прощался со своими новыми друзьями, а они махали руками, желая ему доброго пути.

И вот стая окружила Бип-бипа, радостные крики журавлей разносились повсюду, но громче всех слышен был счастливый крик Бип-бипа. И тут Куырруй сказал так, точно во всем, что случилось с Бип-бипом, виноват был он, Куырруй:

— Нелегко теперь водить стаю: люди все время меняют природу; старые приметы не годятся. Но ничего, полетаем по новым приметам! Куырруй! — прокричал он громко и задорно.

— Куырриу! — радостно ответила ему стая, и журавли потянулись за своим вожаком.

Весело было им сейчас возвращаться на свою летнюю стоянку, снова был с ними проворный, шустрой Бип-бип.

МСЯ ДОЧЬ

Большое, тяжелое яблоко упало на землю. Вано медленно повернулся, но ничего не увидел в высокой траве.

«Ну ладно, подберу с остальной падалицей,— подумал он.— Судя по удару, крупное яблоко».

Вано лежал под широким ветвистым деревом на бурке, расстеленной на плетеном топчане.

Стояла необыкновенно жаркая погода. Было душно, ни ветерка. Сквозь просветы между ветвями виднелось небо. Громады чуть заметно двигавшихся белых-белых облаков походили на горы взбитой белой ваты, а на ярко-синем небе за облаками удивительно четко выступали вершины гор.

Вокруг тишина... Только под деревьями в цветах жужжат пчелы. Всегда такой громкий шум быстрой горной реки сегодня почему-то не слышен.

Вано кинул взгляд на ограду сада.

Обычно там торчат деревенские мальчишки, жадно поглядывая в сад. Вано хо-

рошо знает их тайные желания. Он пройдет-
ся по саду, подберет, что посвежее и по-
лучше из падалицы, несет ребятишкам.

— Нате, дорогие мои, кушайте и растите
такими, какими желают видеть вас ваши ро-
дители,— говорит он и через плетень переда-
ет детям яблоки.

Тем, у кого дома есть фруктовые деревья,
он дает меньше и говорит так:

— Вы еще дома покушаете, дорогие мои.

А тех, у кого дома нет садов, наставляет:

— Бери и ешь, пусть съем я твои болез-
ни. Только скажи своему отцу, чтобы поса-
дил деревья у себя дома. Плохо жить без
фруктов, да и как-то нехорошо в наше время
не иметь во дворе фруктового дерева. Так
и скажи отцу.

Поэтому дети очень любят старика, и
если бы он сказал: киньтесь в реку,— они
бы кинулись, не задумываясь. Но разве Вано
может предложить им ни с того, ни с сего
броситься в реку? Услышав что-либо подоб-
ное, он бы сказал: «Не дай бог... Дети долж-
ны расти счастливыми».

Но сегодня ребят не видно. Жара погна-
ла их к реке. Вано представил себе, как они
рассыпались по берегу: одни плавают в про-
зрачной холодной воде, другие лежат на пес-
ке, их тела, и так от загара похожие на
меди, солнце жжет еще и еще. Но только
солнце начнет опускаться к горизонту, опять
появятся они около сада,— после купанья
очень приятно полакомиться яблоками...

Вано пристроил топчан под своей люби-
мой яблоней, чтобы ее особо охранять.
В этой лощине все деревья хороши. Особен-



но антоновки. Есть здесь и ряды шафрана, ранета и других сортов. Но это дерево Вано выделяет, наверное, потому, что оно самое красивое и сильное, каждый год дает обильный урожай. А может быть, и потому, что дерево это — свидетель его жизни, и, глядя на ветви, гнувшиеся под тяжестью яблок, он вспоминает прожитые годы...

Послышался шум детских голосов. Веселой гурьбой бежали мальчишки, стараясь перехватить друг у друга футбольный мяч.

«Ишь вы какие! — подумал Вано. — Легко вам досталась жизнь. Не то что нам, вашим отцам. Растите же такими, какими хотят вас видеть ваши матери!»

Колхозники любят приглашать Вано к себе в гости. И когда на стол подают яблоки (а так делают во всех домах села), Вано берет в руки самое крупное и долго смотрит на него, словно вспоминая, на каком дереве оно выращено, потом кладет его поверх других яблок, и лицо у него светлеет. Ведь эти сочные и сладкие яблоки, которыми полны кладовые колхозников, — плоды терпеливого труда Вано.

А сколько фруктов продает колхоз на базаре! Сотни тысяч рублей выручает за них. И это уже теперь. Что же будет, когда вырастут и начнут плодоносить деревья, которыми засажена огромная площадь рядом со старыми садами? Вано сам настаивал на том, чтобы посадить эти деревья. И сейчас их во много раз больше, чем в садах, оставшихся после помещика Миллера. Кроме яблок и груш, посадили сливу, черешню, вишню, абрикосы, персики, малину, черную смородину. А вокруг сада в три ряда идут ореховые деревья. Они ветвисты, растут высоко и надежно будут охранять сад от сильных ветров.

В новых садах деревья еще молодые, в этом году они впервые дали по нескольку плодов. На этих молодых деревьях Вано испытывает свои знания, которые берет у Мичурина.

До Вано донесся разговор:

— Ну и жара! Умираю от жажды.

— Пойдем к отцу. У него есть вода.

Женский голос принадлежал его дочери Шериффе, окончившей недавно факультет мелиорации сельскохозяйственного института.

Вано поднялся и присел на краю топчана. Разговаривающие не были видны из-за густых рядов сирени, тянувшихся по краю сада. Наконец показалась Шериффа, без платка, ее пышные черные волосы были расстрапаны. Она легко ступала в мягких матерчатых чувяках, из которых выглядывали белые с красной каемкой носки. Раздвинув ветви сирени бронзовыми сильными руками, она направилась к отцу. За ней шагнул Лади, молодой парень, участковый агроном, таща тяжелый треножник.

Увидев Лади, Вано нахмурился. Недавно Лади присыпал сватов. Ясно, что предварительно он заручился согласием Шериффы, иначе не решился бы послать.

Что он прислал сватов, это ничего. Вано не против. Он не может сказать и того, что Лади не будет достойным зятем. И если Вано не дал сватам окончательного ответа, то лишь потому, что, по обычаю, сваты не раз должны побывать в доме невесты, чтобы было поддержано ее достоинство.

Но пока зачем же ходить вместе? Что могут подумать люди? Обычай есть обычай, и нельзя так сразу взять и отбросить его. Девушка должна держаться скромнее в присутствии жениха.

Вано сухо поздоровался с ними и встал, чтобы принести из ямы кувшин чистой, холодной воды.

В это время вслед за молодыми людьми из-за сиреневых кустов показался еще человек — это был парень из рода Дриати. В руках он держал железный колышек. Вано смягчился. Если их трое, то все в порядке. А не работать им вместе нельзя. Делают они большое дело... Шутка ли! Надо, говорят они, направить реку на поля, чтобы те наконец вволю напитались влагой.

Вано искоса взглянул на дочь. Ее большие черные глаза смотрели на ветку, склонившуюся под тяжестью яблок, но лицо было почему-то печально.

— Как идут ваши дела, дочка? — спросил Вано.

— Хорошо, — ответила она и с тем же печальным выражением взглянула на отца.

— Кончили планировать?

— Да.

— Где же должен пройти канал?

— Пока не установлено точно, — сказала она уклончиво. — Намечаем в нескольких местах...

Шериффа зажгла настольную лампу. Ей казалось, что в этом синеватом полумраке ее усталость пройдет быстрее. Она выглянула в окно. Большой фонарь над воротами освещал улицу и двор. Шериффа ожидала: вот-вот откроется калитка рядом с воротами и войдет отец. Он почему-то сегодня запаздывал.

Беспокойство и сомнение овладели ею. Скорее бы он пришел, чтобы сразу все выложить!

— Да ты не волнуйся, — сказала мать. —

Расскажи все как есть. Он тебя уважает, верит твоему уму и послушается тебя, вот увидишь.

— Боюсь, что в этом деле отец никого не послушается. С тех пор как я себя помню, я помню и то, как он любит эти деревья... Не согласится он, нет!

— Согласится, согласится, дорогая. Он человек разумный и поймет все.

В это время открылась калитка и показался Вано в своей белой войлочной шляпе, белой холщовой рубашке и в рабочих сапогах. На минуту он остановился, колеблясь, закрывать ли на засов, и, вероятно, решив, что Шериффы еще нет дома, лишь слегка прикрыл калитку.

Смущенная и взволнованная Шериффа ушла в другую комнату.

— Ну, как живете? — донесся до нее голос Вано.

«Кажется, отец веселый, — подумала она, — можно будет поговорить».

— Живем так же, как жили, хуже жить не собираемся, — ответила шутливо мать.

— А где дочка? Не приходила еще?

— Дома. Отчего ты такой веселый сегодня?

— Чего же мне тужить? Я прямо от Кавдина, зазвал меня к себе и угостил на славу. Вино было крепкое, но это я понял слишком поздно.

— По тебе и не заметно.

— А если даже заметно, ничего уже не поделаешь. Пусть самая тяжелая болезнь, какая нам угрожает, не будет тяжелее этой.

Когда Шериффа вошла в комнату, Вано

уже сидел на мягком диване, устало откинувшись на подушки. Увидев дочь, он выпрямился.

— Дочь моя, заменившая мне сыновей! Сядь сюда и расскажи что-нибудь. Время такое настало, что вы, молодежь, больше видите и понимаете, чем мы, старики. — И он указал ей место рядом с собой.

Когда Шериффа села, он положил ей на плечи свою руку и слегка привлек к себе.

— Эй, хозяйка, — обратился он к жене, — радует меня наша дочь. Всем взяла — и умом, и силой не только среди девушек, но и среди парней... А помнишь, как я рассердился, когда у нас вместо мальчика родилась девочка?

— Как не помнить! Целых три месяца домой являлся нехотя.

— Глупые мы были, глупые! — И он еще крепче прижал к себе дочь.

Шериффа решила, что это благоприятный момент для разговора, и сказала:

— Отец! Мне нужно кое-что сказать тебе. Только если тебе не понравится, пожалуйста, не сердись на меня.

— Говори смело, дочка! Нет еще такого дела, из-за которого мы можем поссориться с тобой.

Он сказал это весело, но в душе обеспокоился.

«Неужели она хочет замолвить слово за Лади, решив, видно: если отец не дал сватам положительного ответа, значит, он отказал... — подумал Вано. — Неужели она посмеет заговорить об этом с отцом? Да нет! Еще ни одна осетинская девушка так не по-

ступала. В крайнем случае она могла бы обратиться к матери, а та потом переговорила бы со мной».

Вано даже растерялся, не зная, как держаться, если Шериффа заговорит с ним о женихе.

Шериффа молчала, словно давая отцу время приготовиться.

— Отец, — сказала она наконец, — я хорошо знаю, как ты любишь свои деревья. Каждое дерево для тебя все равно что живой человек.

«При чем здесь деревья? — подумал Вано. — Ага! Вероятно, она хочет сказать, что сама она дорога мне так же, как эти деревья. Ну-ну, говори, послушаем».

— А больше всех ты любишь деревья, которые растут в лощине, — продолжала Шериффа. — Да и как их не любить! Деревья прекрасные, и ты их сажал собственными руками.

«К чему это она?» — пожал плечами Вано.

— Так вот, папа, — голос Шериффы стал решительным, — эти деревья надо срубить.

Вано с недоумением взглянул в лицо дочери. «Не сошла ли она с ума, говоря такие вещи?»

Но на него внимательно смотрели спокойные, умные глаза девушки.

— Что ты сказала, дочка? Срубить деревья в лощине? — тихо спросил Вано.

— Ты сначала выслушай, — просительно сказала жена, — не пугай ее своим гневом.

— По этой лощине пойдет вода, — объяснила Шериффа.

— Почему обязательно по этой?

— Потому что это готовое русло. В других местах придется отчаянно бороться за каждый сантиметр каменного грунта.

— Мне нет до этого дела. Я отчаянно боролся за свои деревья и не позволю сорвать с них ни одного листочка. Ты пользуешься тем, что я твой отец. Посмела бы ты заговорить об этом с председателем. Он бы тебе задал.

— Он согласен, — тихо сказала Шериффа. — Вначале, когда я заговорила с ним, он тоже вспылил, но, подумав, согласился.

— Ну, а я не согласен и на твоего председателя найду управу. И деревья губить не позволю!

— Рассуди, отец, вода канала оросит все сады колхоза, они небывало расцветут, а тут всего шестнадцать деревьев!

— Легко сказать шестнадцать деревьев, украшение всего сада! Объясни-ка мне, моя умная дочь, как случилось, что я растил тебя, потом учил, потом из года в год возил в Дзауджикуа, лучший кусок отдавал тебе, лучшие платья покупал для тебя, а ты все, что узнала, обрушила на мою седую голову?

— Да разве я против тебя? — со слезами промолвила Шериффа.

— А что? Было бы лучше, если бы ты меня ножом ударила! Сколько лет, как родную дочь, любил я каждую яблоню, как родную дочь, холил, а теперь говорят: руби!

— Если бы ты не сёрдился и выслушал меня, то и сам согласился бы со мной, — сказала Шериффа.

— Хорошо, — проговорил более спокойно

Вано после долгого молчания, — говори, я слушаю тебя.

Шериффа начала тихим, дрожащим голосом, но постепенно овладела собой.

— Если мы проведем канал, минуя лощину, мы упремся в широкую скалистую гряду. Кстати, и на этой гряде растут твои деревья. А грунт там такой, что ни киркой, ни ломом его не возьмешь. Чтобы прокопать русло канала, придется израсходовать самое меньшее восемьдесят тысяч трудодней. А чем мы будем платить за эти трудодни, подумай, отец? Твоими же фруктами, шерстью, овощами, кукурузой, пшеницей, за счет доходов колхоза... А это ослабит, обеднит трудодни всех колхозников, и главное — зря платить...

— Ты не слишком вдавайся в вычисления! — прервал раздосадованный Вано Шериффу. Не хотелось ему отдавать деревья.

— Но всё это полбеды, — продолжала Шериффа. — Хуже будет, если на эту работу отвлечем народ от других неотложных дел.

— Какие бы там потери ни причинил твой канал, я его не пущу через свой сад!

— А сколько у нас земли, малопригодной для пахоты, но превосходной под сады, — не унималась Шериффа. — Можно опять посадить.

— Чтобы их опять срубили, да?

Вано встал.

— Слушай, — сказал он сурово, — если ты хочешь, чтобы я называл тебя дочерью и чтобы гордился тобой, забудь весь этот вздор. И разговор окончен.

Вано ушел в спальню.

Он лег в постель, только что застланную чистыми, выстиранными, свежими простынями, прохладу которых он так любил. Но на этот раз, возбужденный ссорой, он даже не обратил на них внимания.

Печальным взором проводила отца Шериффа и беспомощно посмотрела на мать.

Та кивнула головой в сторону спальни и хитро подмигнула.

— Согласился он с тобой, — прошептала она.

— Как согласился? Он же оборвал разговор и ушел!

— Когда он соглашается, он всегда так уходит.

А в это время Вано лежал и думал:

«А все-таки какова девчонка! А? Как умеет высчитывать! И какая настойчивая! Женщина, а сколько ума! Ясно, моя дочь!»

Вано сидел на своем любимом месте, на топчане под яблоней, а Шериффа, устроившись рядом, читала ему газету. Против обыкновения, Вано слушал ее невнимательно. Голос Шериффы жужжал, как пчела, у уха Вано, и только отдельные слова доходили до него.

Вано печальными глазами смотрел на деревья. Растут большие, ветвистые, с крупными темно-зелеными листьями. Яблок-то на них сколько! Если бы не многочисленные подпорки, ветви давно разостлались по земле. А какие крупные, красивые плоды! Начали уже наливаться. Но это последние плоды! Как только соберут урожай, начнут ва-

лить деревья... Трудно же будет поднять на них топор!

Нет, Вано не сможет смотреть на гибель своих красавцев, уйдет куда-нибудь по-дальше.

А что, если их все-таки оставить? Пойдет вода, ну и что же! Пускай бежит себе на здоровье, а деревья могут стоять, как стояли, и давать плоды. Но слыхано ли дело, чтобы фруктовые деревья в воде росли?

— Ты не знаешь? — повернулся Вано к дочери, прервав ее чтение, — не нашли наши ученые способа, чтобы деревья в воде росли и плодоносили? Думается мне, давно пора такой способ найти.

— Про это не знаю, а вот как переносят дерево с одного места на другое, говорили мне.

— Кто говорил? — встрепенулся Вано.

— Лади говорил.

— Кто? — подозрительно уставился на нее Вано.

— Лади, — покраснев, ответила девушка. — Он читал журнал, и там описано, как в Москву издалека привезли большие деревья, посадили их на улицах и скверах, и они растут и цветут на новом месте не хуже прежнего. Лади просил меня передать тебе об этом.

— Почему же он сам не пришел? — вскочил с топчана Вано.

— Постеснялся, — наклонив голову, улыбнулась Шериффа.

— Ну и хитрецы! — И Вано от души расхохотался.

Когда Лади подробно ознакомил Вано с

опытами по пересадке деревьев, Вано воскликнул:

— Спасены... спасены мои красавицы! — И, нежно проведя рукой по шероховатому стволу яблони, тихо добавил: — Хорошо придумали в Москве, хорошо! И мы попробуем.

* * *

Мы приехали к Вано в середине лета, когда поспели ранние яблоки и груши и колхозники уже приступали к уборке. В саду, на большой поляне, стояли горы плетеных корзин и ящиков, полных красновато-желтыми сочными абрикосами. Абрикосы в корзинах предназначались для колхозников, а в ящиках — для отправки в город на рынок. Ждали машин, которые еще не возвратились из очередного рейса.

Поспевала и черная смородина, тянувшаяся длинными черно-зелеными рядами. Смородину пока не трогали, ее очередь была после груш и яблок.

Несколько колхозников сидело под большой ветвистой яблоней на другой стороне канала, по которому бежала чистая вода.

— Вон тот, который поднялся, мой отец, — показала на Вано приехавшая с нами Шериффа.

Она легко спустилась к воде и, сполоснув руки, вернулась обратно.

В это время тот, которого она назвала своим отцом и к которому мы приехали, разглаживая свои белые, красиво закрученные усы, направился к нам через канал по новенькому мостику из свежих бревен.

— Прошу пожаловать к нам, разделить наш скромный стол. Водки у нас нет, чтобы гостей принять как полагается, но араки достанем, до села рукой подать, — пригласил нас Вано.

Мы поблагодарили его и попросили, чтобы он не торопясь пообедал, а затем побеседовал с нами.

Вано не стал обедать и повел нас прямо к деревьям.

— Вот посмотрите, какая красавица, — сказал он, указывая на большую ветвистую яблоню. — Сначала поболела, с родной землей, наверное, прощаться трудно было, а потом прижилась. Растет, как видите.

И он повел нас к другим пересаженным деревьям. Они теперь стояли не в ряд, как прежде в лощине, а вперемежку с другими деревьями. Их сажали на месте хилых и неплодоносящих деревьев.

— Дерево, как человек: заботиться о нем надо и терпеливо дожидаться, пока оно вырастет и начнет давать плоды. Деревья не одинаково растут. Одни слабенькие, хилые, а другие просто клад. Но и слабое примется, если ухаживать за ним.

Он задумался, глядя на мелкие волны канала.

— Если бы воду не пустили, — добавил он, — то, пожалуй, и не принялись бы, без влаги трудно. А с влагой и остальные деревья начали лучше плодоносить. — Он помолчал и прибавил: — А воду пустить по лощине придумала моя дочь, — и, не скрывая своей гордости, посмотрел на Шериффу.

СМЕРТЬ ГОДАХА

— Да уж пора, пора мне сложить свои старые кости в родную землю! Вот уже сто тридцать два года живу я на свете и пережил все, что можно было пережить, — и плохое, и хорошее. А теперь пора и в путь, в загробный мир.

Так обычно говорил Годах, когда его спрашивали, сколько ему лет. Говорил он это спокойно, серьезно, как будто готов был в ту же минуту покинуть этот прекрасный мир без малейшего сожаленья.

Но вот он лежит сейчас у себя во дворе на широкой блестящей кровати с белоснежными простынями и подушкой, под таким могучим ореховым деревом, что корона его прикрывает весь двор.

Он тяжело болен. Дыхание его слабо, но все же он слышит знакомый запах ореховых листьев и тот сложный аромат, который доносит легкий ветерок из сада, отгороженного от двора невысоким частоколом.

Ореховое дерево раскинуло над ним свои ветви огромным зеленым шатром, но все же

сквозь густую листву Годаху видны клочки ясного голубого неба.

Глаза его уже затуманились, но он хорошо еще видит всех, кто стоит и сидит вокруг него, и переводит тускнеющий взор с одного на другого.

Странно, почему они собрались вокруг него — и дети, и внуки, и правнуки? Или в самом деле жизнь подходит к концу? Он закроет глаза, и вот этот ясный летний день окажется последним в том бесконечном потоке дней, которые прожиты им за сто тридцать два года? Что ж? В этом нет ничего удивительного. Все кончается... И в таком возрасте, пожалуй, и стыдно бояться смерти, когда уже взято от жизни все, что положено человеку.

Вот у изголовья близко, почти влотную к Годаху, сидит старший сын Дзико. Он в белом шелковом бешмете. На поясе у него старинный серебряный кинжал, на котором почти уже стерлись и орнамент, и надписи. Этот кинжал, единственное свое сокровище, Годах подарил ему, когда он был еще юношей. Давно это было. Да, лет девяносто тому назад, если не больше.

И этот белый бешмет, и серебряный кинжал, и белую мягкую войлочную шляпу он надевает только в торжественные дни. Для него и сегодня, видимо, торжественный день. Он ждет смерти отца, и лицо у него печальное и сильно осунулось.

Вот на ступеньках дома уныло сидит его средний сын, Данел, опершись бородой на загнутую ручку грушевой палки. Он на десять лет моложе Дзико, а выглядит гораздо

старше его. Он худой, изможденный... А когда-то он был настоящим джигитом, таким же здоровым и сильным, как и братья его, но во время гражданской войны он дважды был ранен и потерял здоровье и силу. Слава богу, что у него такие хорошие, образованные дети, внуки Годаха! Они заботятся о нем. И он ни в чем не нуждается. К тому же он и сам еще может работать не хуже других.

Но где же младший сын Мисост? Что-то не видно его.... Да, должно быть, тут где-нибудь, во дворе, трудится, возится с чем-нибудь. Он не может сидеть без дела, особенно когда у него тревожно на сердце. А может быть, боится подойти? Вдруг увидит, что отец уже еле дышит, уходит из этого мира, и зарыдает, а Годах еще жив и услышит его рыдания!

«И чего он, бедняга, так тревожится за меня? — думает Годах. — Разве еще не время мне умирать?»

Мисоста Годах любил больше других сыновей, во-первых, потому, что он был моложе всех в семье, а родительское сердце всегда нежнее к младшему детищу, во-вторых, он отличался какой-то особой мягкостью в обращении с людьми, трудолюбием, честностью и многими другими качествами. Правда, и Дзико, и Данел нисколько не хуже, но Мисост был все-таки ближе отцовскому сердцу.

Когда Годах переселился с гор на равнину, на хорошие земли, он отдал старших сыновей, а Мисоста оставил при себе. Отделил он сыновей не потому, что в семье были неполадки. Нет, они жили дружно, хоть и

бедно, а бедность чаще всего порождает разлад и раздоры. Но зачем такой большой семье тесниться в одном дворе и на равнине, где всем давали большие приусадебные участки? Довольно и того, что они много лет теснились в горах в черной дымной сакле, примостившейся к скале, как гнездо ласточки.

Годах тогда сам посоветовал сыновьям поселиться на отдельных участках. Пусть его внуки растут на просторе, радующем глаз! Они имеют на это право. Ведь их отцы, сыновья Годаха, вместе с другими людьми немало сил положили, чтобы вырвать эти просторы у богачей и отдать беднякам.

Вот у ног Годаха в белом халате стоит высокий широкоплечий мужчина с широким лбом и седеющими висками. Это Асахмет, внук Годаха, старший сын Дзико.

Годах хорошо еще помнит: когда он перезжал с семьей с гор на равнину, Асахмет, тогда еще живой, юркий мальчионка, сидел на арбе и большими темными глазами жадно смотрел на дорогу, на открывавшиеся перед ним все новые и новые места. Разве он знал тогда, что эта дорога приведет его не только в село на равнине, но и к счастью, о котором ни он сам, ни отец его, ни дед Годах, никогда и не думали, что он будет ученым, доктором, профессором?

А теперь у него у самого уже дети. Они играли где-то тут, во дворе, и, должно быть, убежали купаться. День-то жаркий сегодня...

Да, Асахмет — профессор, ученый человек, говорят, лучший доктор во всем горо-

де, многих вырвал из рук смерти, но почему же он привез к больному деду каких-то других докторов в белых халатах? Разве он сам-то уж не в силах вылечить деда? Или ум хорошо, а два — лучше?.. Хоть бы еще немножко, лет на пять, продлили они жизнь старому Годаху! Они это могут. Не будь их, Годах уж давно бы сомкнул свои глаза. И вот еще — ветерком бы пахнуло... А то уж очень трудно стало дышать...

Асахмет берет руку деда, мягко нащупывает пульс, потом капает лекарство на кусочек сахара и сует в рот Годаху, а другой доктор в это время больно колет чем-то руку, но дышать сразу становится легче. Сердце встрепенулось и стучит ровно, как прежде.

Вот что делает наука! И она пришла к детям горцев-бедняков!.. И какое чудо придет еще к ним? Пожить бы немножко, хотя бы пять лет! Правда, Годах как будто уже и не нуждается в жизни, а все-таки... Но если сказать об этом вслух, пожалуй, осудят его. И даже Дзико, который так печально глядит на отца, засмеется и скажет:

— Не подумай, отец, что мы хотим твоей смерти. Нет! Но чем бы ты хотел еще насладиться? Что бы ты хотел еще увидеть? Тесное ущелье ты сменил на бескрайнюю равнину. Вместо бедной, закопченной сакли вон стоят в садах, как княжеские дворцы, три дома твоих сыновей. Вместо сосновой луцины тебе ярко светит вечерами лампа Ильича. Вместо сохи трактора пашут тебе землю, вместо серпа жнут пшеницу самоходные комбайны, а вместо ослов, гляди, вон сто-

ят у тебя во дворе две «Победы». Одна — внука Асахмета, другая тоже внука, сына Мисоста, полковника Алихана. А сам Алихан прислонился к стволу орехового дерева и грустно глядит на тебя. Тяжело ему от того, что ты болеешь.

Бог не обидел тебя потомством. Ты широко раскинул свои ветви, как вот это ореховое дерево. Твои дети, внуки и правнуки не все еще собрались около тебя, а во дворе уже тесно и тем, которые стоят и сидят вокруг тебя. И все они любили и берегли тебя, как мед в хрустальной чаше.

Годах окинул тусклым взглядом двор и только теперь впервые увидел — какое у него многочисленное потомство. И что за люди! Один профессор, другой писатель, третий полковник... Вон рядом с Алиханом стоит его брат Атто, председатель колхоза. На груди у него Золотая Звезда и два ордена Ленина. Вон среди женщин стоит дочь Даниела — красавица, умница. Она учит детей в школе, и у нее тоже есть какие-то награды. Все это дельные, хорошие люди!..

Годах смотрит на них, и в сердце его все больше и больше разгорается, как костер на ветру, жажда жизни. Да, жить бы да жить Годаху!

Эх, кабы покойный отец Годаха встал сейчас из гроба, вошел во двор и посмотрел бы на все это! Он не поверил бы, что для его потомства, для внуков и правнуков бедняка-горца, разлилась такая река счастья!

Почему же это счастье не пришло раньше, когда он был еще жив?

Годах ясно увидел перед собой согбен-

ную фигуру своего отца, его черное от солнца и ветра морщинистое лицо с усталыми глазами, и старуху мать у очага в черной сакле... Это она прозвала сына «Годахом» за то, что его тело было крепким, как обрубок дуба. Только с таким телом и мог вынести Годах и труд, и горе, когда батрачил у разных людей. Из его сверстников давно уже никого не осталось в живых, а Годах все еще жив и только теперь умирает в кругу своей большой семьи, со славой и почестями.

Да, со славой и почестями... И если б сейчас посмотрели те, у кого он батрачил, как умирает Годах, с которым они и разговаривать-то считали для себя недостойным, они подумали бы, что это народ провожает в последний путь какого-то богатого князя. И где теперь все эти жестокосердные, презиравшие Годаха? Их смело, как пыль с дороги, и только тогда Годах почувствовал себя человеком. Не будь революции, он так и умер бы в нищете, как его отец.

Годах хорошо помнил, как умирал его отец. Бедняга вернулся как-то с сенокоса вечером, весь мокрый и посиневший от холода, и, греясь у очага, рассказал, какое с ним случилось несчастье. Стог сена, стоявший на склоне горы, порывом ветра вдруг сбросило в речку. Старик кинулся за ним в воду и стал бахапками вытаскивать сено на берег. Хорошо, что он вовремя подоспел, а не то река унесла бы сено, и единственная коровенка, величиной с козу, и телка подохли бы с голоду. Сено он спас, а себя не сберег. Его так знобило, что он не стал ужинать



и лег на кровать на солому. Мать Годаха накрыла его всем, что нашлось в доме: обрывками бурки, рваными шубами и тряпьем, а он дрожал, лязгал зубами и говорил жене:

— Смерть меня не страшит, а вот что страшно: что ты-то будешь делать с пятью детьми? Чем ты их будешь кормить? Эта проклятая горская жизнь задавит вас без меня.

Так с этой тревогой он и умер. На него надели старую, залатанную черкеску, положили в гроб, кое-как сколоченный из доще-

чек, и похоронили. Кроме жены и детей, никто о нем не плакал. На поминки зарезали телку. Люди поели, разошлись по домам и забыли о нем.

Сын его, Годах, умирает совсем по-другому.

А отец Годаха лежал, умирая, в закопченной, нищей сакле и беспомощно тоскливыми глазами смотрел на несчастных обрванных детей, обреченных на горе и голод.

Эти воспоминания взволновали Годаха. Дрогнули его длинные седые усы. Лицо скорбно сморщилось. Он закрыл глаза, и из них, как из родника под скалой, покатились по щекам прозрачные слезы и скрылись в усах.

— Что с тобой, отец? — услышал он встревоженный голос Дзико. — О чём плачешь? Смерти боишься? — И почувствовал, как кто-то опять мягко сжал его руку в запястье.

— До последнего дня он был в полном сознании и спал, и видел хорошо, — как бы издалека долетел до слуха Годаха голос Асахмета.

«До последнего дня...» Если уж так говорит Асахмет, значит, и в самом деле это последний мой день... Но как же так? Профессор — и не может отодвинуть последний день еще лет на пять? Надо бы сказать ему это... Да он, пожалуй, как и Дзико, подумает, что я боюсь смерти и будут смеяться надо мной.

Годах не боялся смерти, но ему все-таки хотелось пожить еще, чтобы видеть, как будут жить его дети, внуки правнуки при ком-

мунизме и что еще люди придумают, чтобы всем жилось легко и радостно.

Годах открыл глаза и ничего не увидел, кроме чего-то белого, похожего на пенистые волны горной речки, потом понял, что это халат Асахмета, склонившегося над ним. Асахмет выпрямился, и Годах повел глазами вокруг и заметил, что родные его и знакомые подошли к нему ближе, и все недвижно и скорбно глядят на него.

Среди них и Мисост, и двенадцатилетняя дочка Атто Буцина, которую он вынянчил своими руками и прозвал за болтливость и ревность «Ласточкой». Когда она была совсем еще маленькой, Годах рассказывал ей сказки, а когда стала ходить в школу, уж она забавляла деда, читала ему книжки.

Буцина стоит прямо перед ним среди взрослых. На глазах у нее дрожат и сверкают крупные слезы... Она боится за деда, и, пожалуй, никто так не скорбит, не жалеет его, как она.

Рядом с ней стоит трехлетний сын Асахмета, Юрик, в белой шелковой рубашке и коротеньких вельветовых штанишках. Такой же плотный и кряжистый, каким был когда-то в его годы Годах, и он проживет, конечно, дольше деда, потому что будет жить при коммунизме.

Юрик, видимо, не понимает, что такое с дедушкой, и, как детеныш тура, стоит и настороженно посматривает то на тех, кто с ним рядом, то на деда.

Но что это, как чудо какое? Годах чувствует себя совершенно здоровым. Ничто не

болит у него. Сердце не стучит, как молот, и дышится легко, спокойно.

Годах никогда не болел, не любил валяться в постели и захотел встать. Чего лежать, если он чувствует себя хорошо? Да сидя-то и легче рассказывать, как хочется ему пожить еще лет пять, чтобы увидеть ту светлую, сказочную жизнь, какая будет при коммунизме. Но тело почему-то не слушалось его. Хотел поднять руку — и не мог.

Что ж это? Ведь он еще в сознании, мозг его работает, а тело... неужели уже умерло?

Он посмотрел вверх, в лицо склонившегося над ним Асахмета. Может быть, он знает, что такое с Годахом? Асахмет еще ниже склонился над ним, но Годах уже не видел его. Глаза его задернулись густой пеленой и устало сомкнулись.

Но Годах еще чувствовал чьи-то теплые руки, которые, легко коснувшись, прикрыли ему веки, и слышал плач, как порывистый ветер пролетевший по двору. Вот тонким голоском громче и безутешнее всех рыдает Буцина. И Юрик вопит низким голосом.

Почему ж они так оплакивают старого Годаха? Дети... и не понимают еще, что Годах не умирает, если оставляет такое потомство.

1952

КУНИЦА

Гавди, заведующий колхозной птицефермой, сидит на бревне во дворе фермы и, сдвинув брови, в глубокой задумчивости сосет трубку.

Густые усы его чуть поседели, но он еще не стар, судя по румянцу на щеках и мягкому блеску добрых глаз. Однако не так уж и молод Гавди, — человека пятидесяти шести лет едва ли кто назовет молодым.

Гавди трудолюбив, добродушен, уступчив, немного слабохарактерен — таким всегда он был, с самого детства. Но если дело касалось чего-то большого и важного, он сразу становился как бы другим человеком — неуступчивым и твердым.

Вот эти противоречивые черты — уступчивость и неуступчивость — привели его к тяжелому раздору с заместителем председателя райисполкома Борисом.

Об этом раздоре и думает сейчас Гавди, сидя на бревне и посасывая трубку:

«Нехорошо это обернулось для Бориса... Жалко человека... А что будешь делать? Сам

виноват. Позарился на чужое добро, должен понести и наказанье...»

Борис — жизнерадостный человек, рыжеватый, коренастый, юркий, лет тридцати. Он так и рассыпает на ходу шутки, прибаутки. Он не любит сидеть в кабинете, то и дело разъезжает по колхозам, по поселкам, и непременно с гостями. И гости эти просто не надивляются и не нарадуются, как он дружно живет с народом. Всюду он свой человек, его встречают с приветливой улыбкой.

Особенно он любит заезжать к Гавди на птицеферму. Не успеет слезть с бедарки или с машины, еще и не поздоровается и не познакомит Гавди с гостями, а уж машет рукой и кричит:

— Принимай, дед, гостей со всех волосей! Как живешь? Не склевали тебя еще куры?

— Да живем, как жили, — с добродушной улыбкой отвечает Гавди.

— Вижу, что живете, как жили. А разве так надо жить? Ты думаешь, мне это приятно, что у тебя до сих пор нет еще звездочки Героя Социалистического Труда? Не я буду, если не приколю тебе на грудь Золотую Звезду! — Повернется к гостям и заговорит с жаром: — Такой человек — и еще без награды! Да вы не только в нашей республике, во всем Союзе не найдете такой птицефермы, как у него. Такой честный, добросовестный старик!

От этих похвал Гавди всегда чувствует себя как-то неловко и с конфузливой улыбкой говорит Борису:

— Не хвали ты меня так, ради бога! А то



гости и правда подумают, что я какой-то осо-
бенный человек. А птицеферма, что же? И у
других она не хуже...

— Э, знаю я, кого хвалить! И прямо ска-
жу — это наш позор, что мы не умеем еще
ценить таких людей, как ты!

Веселый человек Борис и вместе с тем
свято чтит закон отцов — гостеприимство.
Отзовет, бывало, Гавди в сторону и скажет
тихонько, чуть кивнув в сторону гостей:

— Надо бы угостить их... Ведь это не мои
и не только твои гости, а всего района.

И не столько словами, сколько тоном и таинственным видом своим он давал понять, что гости эти очень важные люди и их надо угостить как следует.

— Скажи, чтобы пару кур зарезали и яичницу, что ли, зажарили. Хоть чем-нибудь надо угостить.

А какую яичницу любит Борис, работники фермы хорошо знают. Чтобы приготовить такую яичницу, надо взять, по крайней мере, десятка два яиц, разбить, разболтать их как следует и вылить на сковородку с кипящим маслом, потом посыпать, если есть под рукой, кусочками мелко нарезанного свиного сала или копченого курдюка, да еще зеленым луком и всякой там зеленью. Яичница получается румяная, толстая и такая вкусная, раз поешь — всю жизнь потом будешь о ней вспоминать. И кур для гостей тоже надорезать с умом, каких пожирнее. Тощих кур, во-первых, как-то и стыдно подавать на стол, а во-вторых, гости могут подумать: «Ну вот, расхвалил Борис этого Гавди, а у него разве куры? Скелеты какие-то».

Все это, конечно, надо учесть.

Когда Борис с гостем первый раз приехал на птицеферму и после веселых прибауток шепнул Гавди, что гость человек очень важный, что надо «уделить ему внимание», Гавди с удивлением спросил:

— То есть как это — «уделить внимание»?

— Ну, зарезать одну-две курицы, яичницу поджарить... Уж седой стал, а как будто не знаешь, как встречают гостей!

— Как это не знаю? Знаю, и всегда рад

гостю. Только добро пожаловать в мой дом!
Там найдется чем угостить. А тут чем же?

— Э, Гавди, к тебе далеко ехать, нет у гостя времени таскаться туда-сюда... Он заехал всего на минуту, хочет посмотреть лучшую ферму в районе. Уж тут как-нибудь устрои!

— Да как же тут-то? Разве можно резать колхозных кур? Сам же скажешь: «Вот Гавди разбазаривает народное достояние». А дома-то как хорошо было бы!

— Подумаешь, «разбазаривает»! Ну, что для такого хозяйства каких-то две курицы да десяток яиц? Ведь их вон сколько у тебя. Вся ферма забита.

Гавди не знал, что и делать. Поджал губы и уставился в землю. Отказать — вроде как неудобно, и кур колхозных резать — тоже не годится. И по слабохарактерности, свойственной ему с самого детства, он сделал то, чего ему очень не хотелось делать. Он зарезал двух кур, взял десяток яиц и отдал старухе птичнице, чтобы зажарила, а сам пошел показывать гостям свою птицеферму.

Через час он привел гостей в контору и пригласил к столу, на котором стояла огромная сковорода с яичницей, а рядом, на тарелке, лежали две жирные, хорошо поджаренные курицы.

— Кушайте на здоровье!

Гости попили, поели и уехали.

Проводив их, Гавди вдруг спохватился и с досадой махнул рукой. Какую же глупость он сделал! Да как рука-то у него не отсохла, когда он резал колхозных кур? А вечером,

придя домой, долго не мог заснуть, ворочался с боку на бок и укорял себя за такую ошибку.

Дзусон чувствовала, что с мужем что-то неладно, чем-то он сильно расстроен, и осторожно спросила:

— Почему не спишь? Что тебя тревожит?
Уж не заболел ли?..

— Да нет, Дзусон! Так, чего-то сон не берет. Да я засну сейчас...

И притворился спящим, а сам думал:

«С детства мешает мне жить эта проклятая слабохарактерность! Надо бы прямо ему сказать: «Нет, не стану резать!» — и все. Будь мои, другое бы дело... Свое добро для гостя не жалко. А то ведь до колхозных кур добрался!.. Вором стал! Как ни трудно жилось раньше, до колхозов, а все-таки ни разу и в мыслях не было позариться на чужую копейку, а тут украл у своих же колхозников. Они мне свое добро доверили, а я своровал, опозорил, запачкал себя из-за этого Бориса».

Эта мысль так потрясла Гавди, что он даже вздрогнул и тяжело вздохнул. Но сейчас же притих, чтобы не разбудить Дзусон. Никогда еще так не терзала его совесть. Он долго мучился, и вдруг ему в голову пришла хорошая мысль. Он повернулся к Дзусон и тихо спросил:

— Ты спишь, Дзусон?

— Нет, так, вздрогнула немножко... Тебе нужно что-нибудь?

— Ничего не нужно. А вот что... Возьми-ка завтра двух белых куриц и отнеси на ферму.

— Зачем? Разве кур собирают с колхозников?

— Никто не собирает... А я задолжал ферме две курицы.

— Как так? Они подохли, что ли?

— Нет, сам я зарезал. Приехали гости, я и зарезал.

— А почему же ты их домой-то к себе не пригласил? Своих бы и резал, а то как же колхозных?

— Да торопились они... Некогда им было разъезжать туда-сюда. А голодными их тоже неудобно было отпускать. Отнеси завтра двух наших пожирнее.

— Ну, что же теперь делать? Отнесу...

С тех пор Гавди часто говорил Дзусон:

— Слушай, Дзусон, поймай-ка пару кур пожирнее и отнеси на ферму.

— Что? Опять был на ферме Борис?

— Был... Чтоб ему пусто было! И все с какими-то гостями...

Гавди уже начинали донимать и возмущать эти частые посещения. Он чувствовал, что сам себя поставил в какое-то дурацкое положение. Борис и гости его уверены, что Гавди угощает их колхозными курами, потому даже не благодарят его за это, а между тем дома у Гавди в курятнике совсем уж пусто стало.

«Надо все-таки сказать об этом председателю колхоза, а то и прямо председателю райисполкома. Нельзя же так, в самом деле! — решил наконец Гавди. — Но как жаловаться на гостей? Ведь неловко как-то. И если бы я, правда, кормил их колхозными курами, а то ведь своими... Скажут: «Кур,

что ли, жалко тебе для гостей? Так не резал бы!»

Да и Бориса не хочется обижать. Он все-таки неплохой человек, веселый.

Как-то раз Борис приехал к Гавди с каким-то молодым человеком в самом веселом настроении, вылез из машины и закричал, как всегда:

— Принимай, дед, гостей со всех волостей! Как живешь? Как куры?

Расхвалил Гавди, выругал кого-то за то, что до сих пор на груди Гавди нет Золотой Звезды, потом отозвал Гавди в сторону и зашептал:

— Это знаешь кто? Корреспондент республиканской газеты. Его надо как следует принять. От него все зависит. Напишет про тебя, портрет напечатает в газете, и Золотая Звезда тебе обеспечена. Я ведь не забываю о тебе, старик, и все время стараюсь.

— Слушай, Борис,— нахмурясь, сказал Гавди. — Все это хорошо. Я всегда рад гостям. Только вот кур-то очень много расходуется. Как бы они камнем не легли мне на шею.

И умолчал, что куры-то расходуются не колхозные, а его собственные, авось Бориса совесть скорее проймет.

— Ну, от одной-двух кур не обеднеет твоя ферма. А не угостить, сам понимаешь, может обидеться и такое настроить в газету, что позор будет не только для нас с тобой, а для всего района. А куры — чепуха! Заактируй их, будто подохли. Вот они и не повиснут на шее. Не знаешь, как надо делать, что ли?

И Борис лукаво подмигнул Гавди.

Гавди покраснел от злости. Ну и гусь! Мало ему, что Гавди по его милости на старости лет стал вором, так Борис хочет, чтобы он стал мошенником. Ну не-ет!

И Гавди хотел открыто высказать Борису прямо в глаза все, что накопилось на душе, но опять не хватило духу, и он, сдвинув брови и не глядя на Бориса, сказал:

— Гавди никогда не составлял фальшивых актов и составлять их никогда не будет. Это ты помни, Борис!

И Борис это запомнил. А Гавди пошел и зарезал двух кур.

Борис ел с таким волчьим аппетитом, как и «корреспондент», но только он умудрялся как-то одновременно всех смешить своими шутками.

Когда яичница была съедена, а от кур остались только кости, в контору зашел западающий пасекой Магомет. Борис недовольно и недобро посмотрел на него и подумал: «Э, черт тебя принес!» Но все-таки преподнес ему, по обычаю, встречный бокал и усадил его повыше себя, как полагается старшему.

Магомет молча слушал веселую болтовню Бориса, хмуро посматривал то на него, то на «корреспондента», то на Гавди. Казалось, он не понимал, что здесь происходит. Это, видимо, смущало Бориса, и он заторопился домой. Гости вышли во двор и сразу двинулись к своей бедарке.

— К Гавди люди приезжают не пить, не кушать, а посидеть с ним и душу отвести,— сказал Борис и так посмотрел на Магомета,

словно хотел сказать: «Гавди не такой, как ты, хмурый скряга!»

«Э, лиса», — подумал Гавди и спросил:

— Что же твой гость-то?.. Разве не хочет посмотреть нашу ферму?

— Что ему надо, он уже все посмотрел, — ответил Борис. — Эти газетные работники... Им только взглянуть, и они настрочат о тебе целую страницу в газете: «Мы подъезжали к ферме, и вся степь нам показалась покрытой хлопчатником. А подъехали и с удивлением увидели: это не хлопчатник, а куры с фермы Гавди. Мы глянули на реку и удивились, почему все прибрежные камни шевелятся? Подошли. Оказалось, это не камни, а утки и гуси с фермы Гавди». Вот как они пишут! Ну, всего хорошего!

И Борис, усевшись рядом с «корреспондентом», хлестнул лошадь.

Гавди и Магомет молча смотрели им вслед. Гавди задумчиво сказал:

— Как мне только избавиться от этого человека? Ума не приложу.

— Вот и я об этом думаю. Чего ты его прикармливаешь? И как у тебя духу хватает резать колхозных кур? Отдадут под суд на старости лет, думаешь, Борис поможет? Ведь он, как куница, повадился к тебе и не успокоится, пока всех кур не поест. Я давно хотел сказать: подведет он тебя под суд.

— Ну, суда-то я не боюсь.

— Как не боишься? Да ты знаешь, что бывает за расхищение колхозного имущества?

— Да разве я колхозное? Свое расхищаю. Ведь Дзусон-то всех наших кур сюда

перетаскала. У меня во дворе почти ни одной не осталось. А он все ездит. Как мне от него избавиться?

— А очень просто! Скажи секретарю райкома Мурадию или Махарбеку, председателю райисполкома. Они ему хвост прищемят.

— Да хорошо ли это — жаловаться, поизорить человека? А должно быть, придется сказать... Ничего не поделаешь.

— И всегда ты был такой: тебя обижают, а ты боишься обидеть. Вот он и пользуется твоей слабостью... Он тоже раз приехал было ко мне на пасеку с шутками, прибаутками, хотел в душу влезть и колхозного меда попробовать, а я и понюхать ему не дал. Он и перестал ездить. Вот так и тебе бы надо!

— Да нельзя же... Если бы он один, а то ведь с большими людьми приезжает.

— С какими же это большими?

— Да вот хотя бы сейчас из республиканской газеты корреспондент с ним был.

— Кто-о? Этот-то? — И Магомет вдруг громко захохотал. — Какой он, к черту, корреспондент, когда и расписаться-то еле умеет.

— А кто же он, по-твоему?

— Свояк Бориса. Из Нальчика приехал, сборщиком на рынке там работал. Ну и дурачат они тебя!..

Когда Магомет ушел, Гавди сел на бревно и глубоко задумался. Что же это делается? Поди, и другие-то гости Бориса были такими же проходимцами. А он их курятиной кормил да еще всем сердцем радовался, что угощает хороших, дельных людей.

«Заактируй их, будто подохли!» — вдруг вспомнил Гавди, и у него чуть сердце не разорвалось от гнева. Только теперь дошло до него, как жестоко оскорбил его Борис.

«За вора, за мошенника считает!.. А сам пьет и ест у меня! Что же это за человек? И еще такое место занимает в райисполкоме? Ах, негодяй!.. Нет! Я этого так не оставлю! Верно говорит Магомет, надо все про него рассказать. И расскажу! Завтра же пойду в район и все, все расскажу!»

Эти гневные его размышления оборвал сигнал машины, долетевший издалека. Он повернулся, посмотрел на дорогу, которая шла от фермы в райцентр, увидел быстро приближавшуюся синюю «Победу» и с ужасом подумал:

«Да неужто это опять Борис? Все может статься... Встретил кого-нибудь, пересел с бедарки в машину и едет с гостями опять за курятиной... Ну уж нет! Стесняться не буду. Прямо при всех скажу, что он за человек! А курятины и понюхать не дам!..»

«Победа» подъехала к воротам фермы и остановилась. Гавди так был зол на Бориса с его «гостями», что и не пошевелился, остался сидеть, как сидел, и даже отвернулся в другую сторону.

Из «Победы» вышли двое мужчин, подошли к Гавди и приветливо поздоровались:

— Здравствуй, Гавди! Отдыхаешь?

Гавди глянул на них, хмурость сразу слетела с его лица, и он порывисто встал.

— А-а! Добро пожаловать! — сказал он, от души радуясь приезду таких гостей и пожимая им руки.

Это были секретарь райкома Муради и председатель райисполкома Махарбек. Они сели на бревно рядом с Гавди и закурили.

— Устали и проголодались, должно быть,— сказал Гавди.— Прошу вас к себе домой. У старухи найдется, чем угостить дорогих гостей. А если торопитесь, можно тут зарезать курочку, а завтра Дзусон нашу сюда принесет.

— Спасибо, Гавди! Не беспокойся! Ничего нам не надо,— сказал Муради.— Задеяли по дороге посмотреть, как ты тут живешь. Как дела на ферме? Говорят, за все лето у тебя не пало ни одного цыпленка. Как это тебе удается?

— Ну, да как? Будешь поить, кормить, хорошо ухаживать за ними, отчего ж они могут пропасть,— скромно ответил Гавди.— Только вот беда-то! Повадилась ко мне одна «куница», не знаю, что с ней и делать.

— Ну вот, хороший охотник, а не знаешь, что делать с куницей?— переглянувшись с Махарбеком, улыбнулся Муради.— Капкан бы поставил или взял бы ружье и убил.

— Нет, это не такая куница: убьешь, в суд потянут.

И он все рассказал про Бориса.

— Так,— задумчиво сказал Муради.— Мы уже слышали об этом, потому-то и приехали к тебе. Сейчас встретили его по дороге. Он у тебя, что ли, был? И что это за человек с ним?

— Да он-то говорит, будто бы корреспондент, а Магомет сказал, что он из Нальчика, рыночный сборщик. Чья правда, не знаю.

— Слышишь, Махарбек? — сказал Муради и покачал головой.

— Слышу... — Махарбек сердито швырнул в сторону окурок. — Заведется паршивая овца и все стадо испортит. Вот что, Гавди, ты пока не говори никому о нашем разговоре. Я побываю на других фермах, соберу все о нем, и эта куница будет у нас в капкане.

Махарбек и Муради встали, осмотрели хозяйство Гавди и, поблагодарив его за хорошую работу, уехали...

А Борис, встретив по дороге секретаря райкома и председателя райисполкома, долго беспокойно оглядывался и посматривал им вслед, а когда увидел, что они свернули на проселочную дорогу и покатили прямо к Гавди на ферму, совсем встревожился.

Гавди он нисколько не боялся. «Гавди, — думал он, — кроткий человек, и у него у самого рыльце в пушку, а вот Магомет, который, наверное, торчит еще на ферме, этот может нашкодить. Надо бы выгнать с пасеки этого грубияна, чтобы не болтал чего не следует».

Борис призадумался и скоро опять повеселел. Ничего, пусть этот Магомет болтает, что хочет. Борис знает, что делать. Он запомнил, что этот дурак Гавди сказал ему с горячортом: «Гавди никогда не составлял фальшивых актов!» Очень хорошо! Пусть он за все и отвечает.

«Пошлю к нему завтра ревизию. И пусть он болтает, что я будто бы был соучастником, ел этих кур. У меня ответ простой: — А разве я знал, что эти куры колхозные? — И столько свидетелей представлю, что он не

отвертится... Не будет фальшивых актов составлять! Дураков учить надо!»

На другой день и в самом деле на ферму к Гавди из райисполкома приехали двое мужчин и одна женщина и очень сухо поздоровались с Гавди.

— Мы к вам с ревизией...

— Добро пожаловать! — как всегда, приветливо сказал Гавди. — Это, что же, Махарбек вас прислал?

— Нет, по приказу заместителя председателя райисполкома.

— Борис прислал? — удивился Гавди и с грустной улыбкой покачал головой. — Ну что ж, смотрите, считайте, требуйте, что вам надо, мы все представим.

А на третий день на ферму приехал сам Борис, — озабоченный, хмурый и уже без веселых шуток, — прошел прямо в комнату к председателю ревизионной комиссии. Гавди в это время сидел в соседней комнате и через дощатую перегородку хорошо слышал, как Борис спросил:

— Ну, как идет ревизия? Много у него недостает?

— Да хорошо идет, — ответил председатель. — Не ревизия, а одно удовольствие. Никаких злоупотреблений, все куры налицо.

— Не может этого быть! Чтоб на такой большой ферме да не пропала ни одна курица?

— Мы тщательно все обследовали и пока ничего не обнаружили. Все куры целы. Это удивительно, но так.

— Плохие вы ревизоры! — сердито сказал Борис. — По моим сведениям, у него не

хватает, по крайней мере двадцати одной курицы. Сведения эти точные. А вы — «все целы»! Дайте-ка я сам проверю!

И он зашелестел бумагами.

Гавди не выдержал, встал, вошел в комнату к ревизорам и сказал Борису с улыбкой:

— Не трудись, Борис! Не ищи тех кур, которых ты поел у меня со своими гостями. Верно, ты съел двадцать одну курицу. Но я восполнил этот ущерб. Дзусон давно уже принесла своих таких же кур, если не лучше. А у меня дома и во дворе, и в курятнике пусто стало теперь, ни одной курочки не осталось. Правду тебе говорю...

Борис глянул на Гавди и побелел от злости, хотел что-то сказать, но растерялся, промолчал, бросил бумаги на стол и вышел из конторы, хлопнув дверью.

Ревизионная комиссия составила акт о том, что хозяйство Гавди в полном порядке, и тоже уехала.

А вот сегодня до Гавди дошел слух, что «куница» все-таки попала в капкан: установили, что Борис и в других колхозах действовал так же, как у Гавди на ферме. Его сняли с работы, исключили из партии и отдали под суд.

Об этом и думает сейчас Гавди, сидя на бревне, посасывая трубку и неторопливо выпуская изо рта блекло-серые клубы дыма.

«Нехорошо это для него обернулось... А что будешь делать? Сам виноват...»

— А теперь семидесятилетний шахтер Садана Кайсын Карджинти и комсомолка-шахтерка того же рудника Раиат Реуазны исполняют осетинский народный танец, — объявил ведущий программу художественной самодеятельности и скрылся за зеленым плюшевым занавесом.

Зал, вмещавший полторы тысячи человек, был переполнен; сотни людей, для которых не нашлось места, теснились в проходах и около стен.

Раздались звуки гармошки и баяна, заигравших плавный осетинский круговой танец, и зал замер. Блестящая зеленая стена вдруг упорхнула, и в зал ворвался свежий ветер.

Из-за кулис неслышно выбежала румяная стройная девушка в вышитой золотом шапочке, шелковом платке и осетинском народном костюме. Плавно подняв руки, она правую вытянула, левую слегка согнула над головой и пошла, будто скользя по льду.

Вслед за ней показался Кайсын. Если бы

не его борода, блестевшая белее первого снега, никто не поверил бы, что ему больше тридцати пяти лет. Он держался прямо, плечи у него были широкие, а движения проворные, как у юноши. На нем была чуть поношенная шапка из коричневого бухарского курпа, черкеска такого же цвета, новый белый бешмет и мягкие сафьяновые чувяки. На поясе висел небольшой, оправленный в серебро кинжал. На груди, под газырями, тоже отделанными серебром, блестел орден Ленина, два ордена Трудового Красного Знамени и несколько медалей.

Девушка шла впереди. Кайсын сначала отставал от нее, затем, приблизившись, пошел вровень с ней. Двигались только его ноги, туловище оставалось неподвижным — как принято в плавном круговом танце.

Вдруг Кайсын поплыл с высоко поднятыми руками, и всем показалось, что это горный орел парит над своей юной подругой.

Зал задрожал от аплодисментов.

Танец уже был окончен, но зрители все вызывали и вызывали Кайсына и Рзиат.

Я раньше знал Кайсына и пошел за кулисы поздравить его с успехом. Он сидел в старом бутафорском кресле, подперев рукою голову, видимо, о чем-то задумавшись. Я решил, что он устал.

— Спасибо, дорогой Кайсын, за большую радость! — сказал я. — Никогда не приходилось видеть, чтобы в ваши годы так легко танцевали.

Кайсын даже покраснел от смущения. Он поблагодарил меня и сказал тихо:

— Да, мне ведь уже семьдесят... А все же, видя, как кругом расцветает жизнь, нет-нет да шевельнется в груди сердце, и тогда тянет к танцу.

— Представляю, каким вы были танцором в молодости.

— Да, пусть хвастается враг, а танцевать я любил. Были, конечно, плясуны получше меня, но людям нравилось, и как я танцую. Богатства бог не дал, а вот талантом не обидел. Да, — вздохнул, вспоминая, Кайсын, — страсть к танцу приносила мне радость. Однако и горя пришлось хлебнуть из-за этого самого танца.

— А какое же горе мог причинить танец? Вы, кажется, так сказали?

— Да, так сказал. Как раз перед твоим приходом я вспомнил одну картину из моей жизни, совсем не похожую на сегодняшнюю.

— Расскажите, — попросил я.

— И-и! Если все рассказывать, так, пожалуй, целой жизни не хватит! Зайдешь, бывало, в дом, где танцуют, — а у нас на танцы принято идти без приглашения, — и возвращаешься мрачный, будто вовсе и не на танцах побывал. Какой-нибудь богатый бездельник еле ноги волочит, а ему дружно хлопают, а тебе, как бы ты хорошо ни танцевал, даже не улыбнутся. Известно, как относились к беднякам: ни его работа, ни его способности никогда не ценились.

Кайсын погладил рукоятку кинжала, взглянул на него и снова глубоко вздохнул.

— Один раз меня так обидели, что на всю жизнь рана в душе осталась...

Когда в минуту радости человек вспомнит былое горе, хочется рассказать о нем, чтобы легче стало на сердце. Видимо, это испытывал сейчас и Кайсын.

— А дело было такое, — начал он рассказывать. — Как-то вечером вышел я из шахты очень усталый, еле на ногах держусь. Доплелся кое-как до общежития, помылся и свалился на свой жесткий топчан. Тут приходит ко мне Инал Гапиоти, тоже наш шахтер, любил он угождать начальству, потому мы его не любили.

Приходит и начинает: «К нашим хозяевам приехали из Бельгии гости. (Тогда еще шахты бельгийцам принадлежали.) И вот, говорит, хотят они посмотреть народный осетинский танец. А ведь сам знаешь, нет у нас лучшего танцора, чем ты».

Я ответил Иналу, что я только из шахты и очень устал. А по правде сказать, не хотелось мне видеть нашего хозяина, — он презирал осетин, в лицо, не стесняясь, называл скотами. И мало сказать, что я его не любил... Но у нас не принято, если к тебе обращаются за помощью, отказывать, это считается недостойным мужчины. Инал этим меня и задел: дескать, надо помочь принять гостей.

Что же делать? Надел я черкеску, лучшее, что у меня было, и отправился.

До моего прихода согнали туда девушек и парней танцевать перед господами.

Пришел и мой черед танцевать вместе с Шали Марзойти — была у нас такая девушка, чудесная танцовщица. Мы не утаили перед гостями наше искусство. К тому

же, прости за откровенность, дружок, мы с Шали любили друг друга.

Хозяин, — звали его Артур, — откинул на спинку кресла свою голову и смотрел на нас сквозь толстые стекла очков мутными, пьяными глазками. Он гримасничал, шумно зевал, недовольно обмахивался, всячески подчеркивая свое пренебрежение к нам.

Когда мы кончили танец, Артур полез в карман, долго рылся в нем, а затем швырнул что-то в нашу сторону, — прямо под ноги Шали с легким звоном покатился гривенник.

Я остановился, глядя на монету ничего не понимающими глазами. Затем перевел взгляд на Артура. Он, указывая нам на дверь, кричал что-то по-своему. Я понял, что он нас гонит.

Оглянулся — никого из наших в зале уже не было. Убежала и Шали, а я стоял посередине, не в силах двинуться с места.

Я хотел узнать, почему он нас гонит, как собак, когда мы танцевали перед ним, и сказал Иналу: «Инал, ты владеешь языком нашего хозяина, спроси его: почему он нас оскорбляет? Ведь мы пришли, чтобы доставить приятное его гостям».

Инал спросил. Вместо ответа Артур пальцем ткнул в направлении монеты и крикнул: «Бери монету и убирайся!»

Инал увидел, что во мне закипела ярость, и испугался. Он поднял монету, протянул ее мне и умоляюще зашептал: «Успокойся, возьми, и пойдем». — «За что, говорю, этот гривенник?» — «Как за что? За танец, —

отвечает он. — Чем плохая цена? Сам же целый день в шахте мучаешься за шесть-десят копеек, а здесь за танец дают».

Вот как оценил хозяин то, что я от души, как полагается по нашему обычаю, развлекал его гостей!

Я так посмотрел на Инала, что он затрясся всем телом. Он хорошо знал мой нрав. Я взял у него монету и бросил ее об пол. Потом сунул руку за пазуху, там у меня лежал давно сберегаемый червонец. Достал его и с силой швырнул прямо в лицо Артуру. «Свое достоинство, — сказал я громко, — я никогда не продавал! А твое достоинство, видно, купить можно! Так вот — на, получай!»

У Артура очки свалились на пол и разлетелись вдребезги. Глаза гостей стали большими, как сито, они в ужасе смотрели на меня, боясь, что я брошусь на Артура...

— Чем же это кончилось? — спросил я Кайсына.

— Чем кончилось? А чем могло кончиться?... Арестовали меня в тот же вечер, а потом осудили на три года тюрьмы. И червонец пропал. К счастью, долго я не сидел. Вскоре после этого началась революция. Меня освободили, а бельгийцев прогнали. Да! Тогда так все расценивали: мерилом был не человек, а деньги... а сейчас... слышишь?

Из зала, как нарастающий прибой, доносились аплодисменты. Белые-белые усы старика подрагивали от улыбки.

ЖЕНИТЬБА АЛХАСТА

В сущности говоря, со мной ничего особенного не произошло. Полюбил девушку, женился, вот и все... Ну, что касается похищения, то... поверьте: я в этом совершенно не виноват. Уж так оно получилось, ничего не поделаешь! — Алхаст встает и собирается уходить.

— Постой, постой! А ты все же расскажи, как это у тебя вышло. Нам ведь интересно послушать! — останавливает один из друзей, хитро подмигивая собравшимся. — Глядишь, и опыт у тебя перейдет!

— Верно, Алхаст, расскажи, как ты женился? — подхватывают другие.

Алхаст с улыбкой смотрит на друзей, возвращается на свое место и, махнув рукой, начинает:

— Ну, так и быть! Если вас интересует, расскажу, только заранее говорю: в этом деле моей вины не было. Произошло это так. Сижу я однажды вечером дома и слышу, кто-то к нам стучится. Выходит моя мать узнать, кто там, и вскоре возвращается.

— Сынок, — говорит она мне, — там тебя какой-то парень спрашивает, выйди.

— Из нашего села он или другого? — спрашиваю я.

— Из другого. Только, — говорит, — я его, кажется, и у нас встречала.

— Чего же ты его в дом не пригласила?

— Я его приглашала, не идет.

«Кто же это может быть?» — подумал я и вышел к странному гостю.

Смотрю и удивляюсь: передо мной стоит Кудайнат Нохаев из соседнего села. Кто не знает Кудайната? Ни одна свадьба, ни одна пирюшка без него не обойдется. Бедовый человек!

Словом, поздоровался я с ним и говорю:

— Заходи же в дом, гостем будешь, по-потчуем по-колхозному. Чего на улице стоять?

— В дом ходить мне некогда, — поспеши-но отвечает он. — Если в жизни ты кому-нибудь хотел сделать добро, то сделай мне. Выручишь — век буду помнить.

— О! Это другой вопрос. Почему же не помочь, если хорошее дело задумал! Пожалуйста, говори.

Кудайнат быстро оглянулся по сторонам и, словно боясь, что его могут услышать, шепотом заговорил:

— Понимаешь, Алхаст, девушка мне одна понравилась, решил ее похитить.

— Как похитить? — изумился я. — Да ты что, в своем уме?

Кудайнат посмотрел на меня внимательно, затем вдруг засмеялся:

— Не удивляйся. Похищение я задумал

только так, для вида. На самом деле же девушка сама хочет за меня выйти замуж, только родители не разрешают. Вот мы с ней и хотим пойти на такой трюк. Понял?

— Как не понять, — отвечаю, — только одно не ясно: неужели девушка так сильно тебя любит, что согласилась на похищение?

Кудайнат высокомерно усмехнулся:

— Ты еще спрашиваешь, любит ли она? Да ты бы посмотрел на нее: не ест, не спит, сохнет по мне! Клянусь священным Хетагом, не стал бы я затевать это дело, только одного боюсь...

— Чего же ты боишься?

— За нее не ручаюсь. Отчаянная девушка. От любви может над собой что-нибудь учинить.

Услышал я эти слова и думаю: «Вот тебе и на! Как бы действительно беда не вышла. И что это за дура, которая могла так влюбиться в такого шалопая?» А вслух говорю:

— Э-э! Дело, видно, плохо. Нельзя этого допустить.

— О чем я тебе и толкую! — оживился Кудайнат. — От тебя теперь все зависит. Захочешь — она спасена, не захочешь — погибла.

— Постой, постой. А при чем тут я?

— Как при чем? Ты ведь шофер, а без машины такое дело никак не уладишь.

— Ах, вон оно что! И далеко ты ее собираешься увезти?

— Зачем далеко? Доедем до Кадгарона, распишемся с ней в сельсовете, и делу конец.

— Так, так,— говорю,— еще один вопрос у меня есть. А где ее... похищать будем?

— Зачем похищать? Чудак человек: она сама к нам в машину сядет.

— Сама! Фу, черт! Вот это девушка! Ну, ладно! Я согласен. Внеси завтра в бухгалтерию колхоза деньги за машину, и я поеду. Так уж и быть.

Кудайнат поморщился:

— А нельзя ли без бухгалтерии обойтись? Ты уж там как-нибудь сам оформи. Я тебя не обижу...

— Нет. Так дело не пойдет. Внеси в кассу, тогда поеду.

Видит Кудайнат, что меня не уговорить, согласился.

Короче говоря, на следующий день он внес деньги в кассу, и мы поехали. Сперва завернули в его село. Здесь нас ожидало еще шесть человек, которые должны были, по словам Кудайната, нас сопровождать. Меня взяло сомнение.

— Зачем, — спрашиваю я у него, — брать столько людей, если девушка сама на все согласна?

— А это мои дружки, не бойся, — отвечает Кудайнат и куда-то на время отлучается.

Тогда я решил все же переговорить с друзьями Кудайната и спросил их:

— Скажите правду, похищать он собирается девушку или нет? Ведь я тоже с вами поеду, и если что — отвечать вместе будем.

Друзья Кудайната говорят:

— Ничего определенного об этом мы не

знаем. Но если он собирается похищать, мы помогать не станем. Кому охота в такое дело ввязываться? Мы и пальцем девушки не тронем.

Через некоторое время прибежал откуда-то Кудайнат и, еле переводя дыхание, выпалил:

— Живей в машину! Она уже вышла из села. Будем догонять.

Все уселись, и я нажал на педаль. Не проехали мы и полкилометра, как я заметил девушку, которая шла впереди по дороге. Стойная, в полосатом шелковом платье и яркой косынке, она несла в руке какой-то чемоданчик. Подъехав к ней поближе, я вдруг узнал ее.

Поверите ли, меня как громом поразило, и я чуть было не выпустил из рук баранку. Это была Тамара! Да, да! Это была та самая девушка, которую я так сильно любил, с которой вот-вот должен был объясниться, и вдруг такое открытие! «Неужели, — думал я, — она могла действительно полюбить такого человека, как Кудайнат? Неужели я ошибся в ней?» Боясь, чтоб она меня не заметила, я проехал немного вперед и затормозил. В ту же минуту раздался голос Кудайната:

— Тамара! Садись к нам, подвезем.

— Спасибо, — отвечает она, — я и сама дойду.

— Как это так? Садись, когда тебе говорят! Мы торопимся.

— Ну и торопитесь себе на здоровье! Чего же ты остановился?..

Я осторожно выглянул из кабины. Тама-

ра стояла у обочины дороги и насмешливо смотрела на Кудайната. «Что же это такое? Неужели Кудайнат меня обманывает?»

Кудайнат вдруг спрыгнул с машины и подошел к девушке:

— Быстро залезай в кузов! Слышишь? — На этот раз голос его звучал грозно и повелительно.

— Что ты сказал? Это кем ты командуешь? — надвинулась на него Тамара. — Да я с таким, как ты, в жизни не сяду в машину! Понял?

Тут я наконец сообразил, что Тамару, очевидно, хотят в самом деле похитить и что мне надо быть наготове. «А справлюсь ли? — невольно подумал я. — Ведь их семеро!»

Мои предположения оправдались: Кудайнат схватил девушку за руку и попытался было подтолкнуть к машине. В эту же минуту раздалась звонкая пощечина, за нею вторая, и у Кудайната вдруг из носа брызнула кровь. Тамара с силой толкнула Кудайната к машине.

— Лезь в машину и уезжай себе подобру-поздорову! Иначе хуже будет!

Поскольку друзья Кудайната в дело не вмешивались, я тоже продолжал оставаться в машине. С Кудайнатом Тамара отличноправлялась и сама. Смотрю я на «жениха» и «невесту» и думаю: «Ведь это лучше всякой комедии. Умора!»

— Оставь ее, Кудайнат! — посоветовал ему кто-то из друзей.

Кудайнат и сам уже был бы не прочь

оставить Тамару в покое, но вот беда: она сама не отпускала его! С большим усилием Кудайнату удалось наконец отскочить в сторону и немножко прийти в себя. Вид у него был самый жалкий: рубашка разорвана, кровь размазана по лицу. Вытащил Кудайнат платок, прижал его к носу, а к машине подойти не решается. Тамара стоит все в той же грозной позе и показывает вдобавок кулак. Боевая девушка! Словом, понял я, что пора и мне в дело вмешаться. Вышел я из машины и иду к ним.

— Как, и ты здесь? — несказанно удивилась она. — Значит, заодно с ними, да? Ничего себе, хорош парень! А я-то считала тебя порядочным человеком.

— А что же я непорядочного сделал? По-моему, ничего. У тебя вот спросить — другое дело. Посмотри на парня, до чего довела.

— Пусть не привязывается, когда не просят. Ехали, так и езжайте себе на здоровье. Зачем остановились?

— Как зачем? Ты идешь пешком. Мы едем. Почему же не подвезти? Садись в кабину, там место есть.

Тамара посмотрела на меня недоверчиво.

— Садись, садись, — подмигнул я.

Тамара, поколебавшись, согласилась. Увидев, что она села в кабину, Кудайнат воспрянул духом. Подскочив ко мне с другой стороны машины, он шепнул:

— Доедешь до распутья, не останавливайся, жми прямо на Кадгарон, понял?

— Понял, — отвечаю я, а сам в уме прикидываю другое.

Поехали мы дальше. Некоторое время Тамара молчала, потом вдруг спрашивает:

— Как же это ты на такое дело решился?

— На какое?

— Как на какое? На похищение! Знаешь ли ты, что за это под суд можно пойти? Нехорошо получилось. Очень некрасиво. И парня я этого обидела.

— Обидела, говоришь? Скажи лучше — избила.

— Брось шутить. Я с тобой серьезно говорю.

— А чего ты злишься? Избитый Кудайнат не злится, а ты злишься...

— Что теперь скажут люди? — продолжала Тамара. — С мужчиной дралась! Стыд и срам. А ты запрятался в кабину и сидишь. Почему не вышел?

— А что же я, дурак, по-твоему? Разве я не видел, в каком положении был Кудайнат? Быть на его месте мне не очень-то хотелось.

— Если бы ты делал все по закону, я, может быть, и согласилась выйти за тебя замуж. Но раз ты решил применить силу... Извини! Посмотрим, что у тебя из этого получится!

Тут только я понял, в чем дело. Оказывается, Тамара за главного похитителя приняла не Кудайната, а меня! Я от души расхохотался.

Тамара, глядя на меня, сурово нахмурила брови. С трудом сдерживая смех, я рассказал ей все, как было, и заявил, что о похищении я даже и не помышлял. Тамара, услышав это, вначале удивилась, потом

почему-то загрустила и больше не проронила ни слова. Между тем впереди показалась развязка шоссе, и ко мне свесилась голова Кудайната:

— Жми в Кадгарон! Слышишь?

Я ничего не ответил, подбавил газу и направил машину в другую сторону, по алагирскому шоссе.

— Ты оглох или с ума сошел? — закричал Кудайнат. — Я говорю тебе, жми в Кадгарон, а ты куда едешь?

Убедившись в конце концов, что я не собираюсь сворачивать в сторону Кадгарона, «жених» замолчал, и мы приехали в Алагир. Здесь я затормозил машину перед зданием, где находилось отделение милиции, и вышел из кабины. Спрыгнул с машины и Кудайнат. Красный от злобы, он яростно набросился на меня:

— Что же ты натворил? Я тебе кричу — жми в Кадгарон, а ты что делаешь?

— А что же тут плохого? Райзагс находится, кажется, в этом самом помещении. Так что здесь сможешь ты с ней и зарегистрироваться. Подожди минутку, я сейчас пойду выясню.

Вошел я к начальнику отделения милиции и говорю: так, мол, и так, привез вам такого «орла», какие теперь редко встречаются... Расписку за него от вас даже не потребую.

Вышли тут милиционеры и пригласили «жениха» в отделение. Поняв, в чем дело, он нахмурился и со злостью сказал:

— Эх, вы! А еще осетинскими парнями считаетесь! Да вам и цыпленка не одолеть!

А тебе, Алхаст, я этого не забуду. Пока моя душа будет в теле...

Словом, пригрозил он мне крепко, как своему кровному врагу. Как только увили Кудайната, я обратился к Тамаре и говорю:

— Ну, Тамара, теперь все в порядке. Можешь зайти в загс и расписаться.

— Что? В какой загс?

— В обычновенный, наш, советский. Зайдем, распишемся, и делу конец. Зачем же еще раз сюда ездить.

«Друзья» Кудайната тоже стали меня поддерживать:

— Верно он говорит, Тамара. И нас тоже пожалей. Ехали черт знает сколько, и все понапрасну!

Долго не соглашалась Тамара, наконец уступила. Зарегистрировались мы по всем правилам, сели обратно в машину: я с ней в кабину, ребята в кузов.

Вы сами понимаете, как мы мчались. Только ветер свистел. Да ребята вдобавок затянули свадебную песню. Хорошо доехали!

А потом уже и свадьбу справили...

Вот так-то я и «похитил» мою Тамару. Особенного, конечно, ничего не произошло, но почему-то меня всегда просят рассказать об этом... Наверное, интересно!

ЖУК

За старым фынгом — круглым столиком о трех ногах, сидит на низком стульчике пожилой мужчина, похлебывает молочную тюрю — шандаг. Может, кто-нибудь подумает, что стола у них нет? Есть, но у этого человека давняя привычка сидеть за старым фынгом. Он не спеша набирает полную ложку шандага, осторожно подносит ко рту, аппетитно схлебывает молоко, старательно слизывает оставшиеся на ней крошки кукурузного чурека и, тщательно разжевывая их, сопит волосатым носом. После каждой ложки шандага он поглаживает длинные усы, снимая задержавшиеся на них капли молока, вытирает руку о суконную ноговицу. Иной раз, когда ему бывает лень обеспокоить свою руку, он захватывает усы языком в рот и смачно обсасывает их.

Он ест так усердно и увлеченно, что ничего не замечает вокруг.

Его жена, смуглая и худощавая, но крепкая женщина, стирает за дверью белье и, словно сама с собой, говорит:

— И за какие грехи меня бог наградил этим гнилым чурбаном? С первого дня на-

шей жизни сидит у меня на шее... Не пойдет, как положено мужчине, куда-нибудь и не добудет ничего. Посмотришь на иных мужей: кто в лесу трудится, кто в поле, кто скот пасет. Работают, вот и дома их похожи на соты, наполненные медом.

Мужчина невозмутим, с усердием продолжает свое дело, и трудно определить — слышит ли он ворчание жены или нет, потому что ни глаза его, ни лицо ничего не выражают. Слова-то жены он слышит, но привык к ним, они для него как необходимая приправа к еде.

— Я, — продолжает жена, — с утра до вечера не знаю покоя. В прошлом году четыреста трудодней заработала. Полученного на них на все бы мне хватило. Но у меня в доме сидит кафундар — сказочное прожорливое чудовище, которое пожирает все. А я даже не могу сменить свое старое, рваное платье!

— Дай мне еще немного молока, видишь — в миске остались куски чурека, а без молока они не лезут в горло, — говорит мужчина так, словно все то, что сказала женщина, не имело к нему никакого отношения. Облизал старательно языком щеки с внутренней стороны, почмокал, освобождая зубы от остатков пищи, и спокойно смотрит на жену из-под шапки.

Женщина, продолжая браниться, берет миску, наполняет ее молоком и ставит перед мужем. Тот глядит в миску и, помешивая ложкой, замечает:

— Просил же — «немного», а ты дала полную миску.



— Хлебай. Может, твой дрянной желудок лопнет, и я наконец-то избавлюсь от тебя!

— Тогда заодно давай и чурек. Не буду же я полоскать кишки одним молоком, — ворчит мужчина.

||

Это Кандил Бердаев. Конечно же, не мать и не отец дали ему такое имя, — Кандил означает «жук» или «таракан». Когда он появился на свет, родители гордились им и хотели, чтобы люди дали ему достой-

ное мужское имя. Они боялись, что когда люди соберутся на крестины, то там не найдется достаточно хороших имен. Мать и отец подыскали ему самое знаменитое имя, такое, которое бы свидетельствовало об уме, отваге и твердости духа их сына, чтобы это имя вызывало уважение людей к их наследнику.

После того, как собравшиеся на крестины шумно отклонили совершенно никчемные, по их мнению, имена, для новорожденного остались только такие — Ахсарбег, Батыр, Чермен, Бола, Коста, Таймураз и Ос-Багатар. Остановиться на одном из них оказалось весьма затруднительно, и собравшимся пришлось немало потрудиться над ними. После бурного обсуждения, несмотря даже на то, что не все присутствующие пришли к единому мнению, выбор был остановлен на имени Чермен. Тотчас же в честь нового человека, будущего славного мужчины Чермена, были провозглашены тосты. Каждый, произнося тост, старался как можно громче назвать имя новорожденного, чтобы сидевшие на пиру лучше запомнили его.

Однако, как ни старались родители и гости на крестинах, имя это не задержалось в памяти людей. И никто давно уже не называет этим именем человека, которого все сегодня считают Кандилом. Когда-то, кто-то и почему-то назвал мальчика — «жук», и с тех пор он так и остался Кандилом. Отец злился, проклиная тех, кто называл ребенка так. Когда мальчик подрос, он тоже начал сердиться, если его называли Кандилом, несколько раз даже пытался поколотить обидчиков, но оставался всегда побитым, а за-

тем смирился со своей судьбой. И родители в конце концов тоже смирились и сами теперь называли его — Кандил. Пусть уж мать и отец считали его Кандилом, но ведь он сам, когда его спрашивали, как его зовут, отвечал: «Кандил».

III

В благополучии и родительской заботе прошли детские годы мальчика. Отец его жил в достатке. Все свои надежды он возлагал на единственного своего дитя, на нем сосредоточились все его заботы. Ему казалось: умри его сын — вся жизнь на земле прекратится. Он опасался всего, что могло причинить вред сыну, оберегал его. Отправляясь на работу или уходя куда-нибудь из дома, он строго-настрого наказывал жене:

— Присматривай за ним, никуда не отпускай играть. Не то он может споткнуться, удариться, либо кто-нибудь толкнет его, — ведь дети такие безжалостные!

Мальчику хотелось бегать, играть со сверстниками, лазать по деревьям, взбираться по скалам, купаться в реке.

— Нана, — обращался он к матери, — можно мне пойти в лес?

— Нет, мой свет, нет, ни в коем случае. Упадешь с дерева, и мы останемся без наследника. Нет, что ты, вон Госада, бедняжка, разве не так осталась без сына?

— Нана, ребята собираются идти за земляникой...

— Тебе нельзя идти, я не переживу горя. Свалившись где-нибудь со скалы. В прош-

лом году, говорят, сын одной женщины из селения Ламардон, ради которого она в течение семи лет сидела во вдовах, собирая вот так землянику, сорвался со скалы и даже костей, говорят, не нашли.

— Нана, ребята идут купаться...

— Я сама тебя искупаю, сынок. Тебе нельзя идти на речку. Вон в позапрошлом году сына Габли, такого замечательного мальчика, река унесла. Лишь только через месяц нашли его скелет в ущелье!

Так отвечали всякий раз его любвеобильные родители. Вначале мальчика это страивало, он грустил без товарищей, даже исхудал. Но со временем привык к такой жизни. Более того, он и сам стал бояться, как бы ему не умереть, словно на каждом шагу подстерегала его смерть.

Солнце никогда не обожгло его лучами, ни разу из его носа не шла кровь, ни одна колючка не вонзилась ему в ногу. На теле у него не было даже самого пустякового шрама, хотя парню исполнилось уже двадцать лет. Он жил беззаботно и весело. Но затем, как говоривал сам Кандил, богу захотелось отнять у него хорошую жизнь.

Однажды летом отец вернулся с работы больной. У него болело все тело, знобило. На следующий день он не поднялся с постели. Вечером у него начался бред. Позвали знахарку. Она долго, ворча, что-то говорила над больным, зевала, трижды обвела вокруг его головы мысайнагом¹ и сказала:

¹ Мысайнаг — предмет или деньги, жертвуемые ради исполнения желания пожертвователя.

— В его болезни повинен Рыныбардуаг, божество, имеющее власть над всеми болезнями, и поэтому следует очень усердно молиться ему.

Мать Кандила не успела приготовить все необходимое для положенного в таких случаях пиршества с жертвоприношениями, для так называемого кувда, как сама слегла. Парень сидел между двумя больными. Ему было тоскливо, но когда мать и отец начали бредить, даже в таком состоянии выкрикивая с любовью и нежностью его имя, Кандилу это показалось настолько забавным, что он стал, прислушиваясь к их бессвязным словам, хохотать.

На следующий день отцу стало совсем плохо, и Кандил по чьему-то совету отправил в дальнее селение за фельдшером, которого, пока он добирался до больного, успевали забодать рогами волы и туры, а попросту говоря, он выпивал несколько бычьих и турьих рогов араки-первача и еле-еле держался на ногах.

Добравшись к больному, фельдшер взял его за руку, чтобы проверить пульс, а сам размышлял: «Собственно, зачем я за нее держусь, ведь зашевелись у меня под рукой — даже вулкан, сейчас все равно не почувствовал бы». Пристально, как ему казалось, он уставился пьяными глазами в лицо больного и сидел неподвижно, и лишь когда изжога поднималась к самому горлу, страдальчески кривились его губы. Наконец фельдшер изрек:

— Слов нет, он — болен.

Причем произнес он это таким тоном,

словно возвестил присутствующим такую новость, о которой они даже не подозревали.

— То, что он болен, мы знаем и без тебя, — заметил Кандил, — но что у него за болезнь и где найти средство от нее?

— Средство — у него, — поднял фельдшер палец к небу. — Если же ты спрашиваешь о диагнозе, то я тебе скажу, хотя знаю, что тебе будет больно, но я не умею лгать и поэтому скажу: дела его плохи, а если он выживет, то с ним ничего не случится...

Пока фельдшер путано произносил эти глубокомысленные слова, больной раскинул руки в стороны, в последний раз блеснул белками глаз и в последний раз приоткрыл рот, чтобы глотнуть неподатливого воздуха.

— Вот! Разве не я говорил, что он тяжело болен! — оживленно воскликнул фельдшер, но кто-то из пришедших навестить больного так посмотрел на него, что он тотчас же отступил в сторону, удивляясь, почему на него так сердито смотрят.

Ночью умерла и мать. Совершенно неожиданно Кандил оказался в столь большой беде, что и ума не мог приложить, как ему вести себя. Вначале он не думал плакать, но когда со двора донеслись безутешные причитания брата матери: «О-о-о, наш дом разрушился!» — Кандил подумал: да, наверное, положено и ему плакать, и тут же заревел гораздо громче дяди: «Так ведь и мой дом тоже разрушился!!!» Однако вскоре вспомнил, что плакать вредно для здоровья (от плача по умершему мужу Биганон, говорят, заболела чахоткой и умерла), и перестал сокрушаться.

Мать и отца похоронили. Осиrotевший дом остался на попечении Кандила, а вернее, если уж сказать более точно, — Кандил остался на попечении родительского дома.

IV

Вскоре опять Кандил зажил без забот. Но самые сокровенные мысли его были о том, как уберечь себя от смерти. Он очень боялся, как бы не угасла его жизнь, и эти мысли омрачали существование. Когда он представлял себе, как он будет лежать в гробу, как его станут опускать в могилу, сердце его готово было выскочить из грудной клетки. «И неужели тогда среди всех жителей вселенной меня больше не будет?!» — думал он, и глаза его увлажнялись от жалости к себе.

Затем родственники решили Кандила женить, иначе он проел бы все наследство, доставшееся ему от родителей, и тогда бы никто не отдал за него свою дочь.

Теперь жена работала, а он сидел дома и ел. Ей хотелось, чтобы он чем-нибудь помог по дому, и она не раз начинала об этом разговор. Однажды она сказала ему:

— Привези из лесу хоть щепок, мы ведь замерзнем от холода.

— Как — привези? А вдруг меня деревом привалит, или арба перевернется и задавит меня, или я ногу себе отрублю?

— Но как же без дров нам прожить?

— Придумай чего-нибудь сама. Работа эта нетрудная. Если хочешь, я и лошадь запрячь тебе сам помогу.

— А если на меня дерево повалится, или арба перевернется, или ногу я себе отрублю?

— Ты — другое дело, не ровняй себя со мной... Мужчина — серединный столб, главная опора дома...

Потом жена решила что-нибудь продать, чтобы на вырученные деньги купить одежды.

— Я насыплю в мешки картофель, а ты свези их в Моздок и продай, — предложила она Кандилу.

— Что?! Мне — свезти? Так ведь на дорогах из-за абреков проходу никакого нет! Пустое ты надумала, ничего из этой затеи не получится.

Со временем жена поняла, какой муж ей достался. Она перестала надеяться на его помощь и махнула на него рукой. Она даже подумала о том, что ей надо с ним развестись, но куда ей, беспризорной сироте, было деваться? Возвращаться назад, к своим суровым дядям по отцу, ей не хотелось.

▼

Опять для Кандила потянулись вереницей однообразные, спокойные дни: он ел, размышлял о дне своей смерти, иногда сиживал на нихасе, где мужчины проводят свое свободное время... Из всего того, что происходило вокруг, он знал только, по кому спрашивают поминки, кто устроил пир, у кого нынче свадьба или у кого и когда это предстоит в скором будущем.

Вот так и берег свою драгоценную жизнь Кандил в течение сорока пяти лет.

Последний час его жизни пришелся на дождливый осенний день. В этот день у Кандила была большая радость — жена привезла из колхоза много зерна, меду, фруктов и даже шерсти. Особенно он был доволен шерстью — надеялся, что жена свяжет из нее теплые носки для него.

Он с аппетитом, в прекрасном расположении духа пообедал. После этого ему захотелось немного посидеть у ворот, и он не спеша направился туда. И тут он попал в величайшую беду: когда он спускался по лестнице во двор, осторожно ступая со ступеньки на ступеньку, то одна из них вдруг под ним проломилась и...

Жена в это время находилась в правлении колхоза. Заметив в окно бегущих куда-то соседей, она тоже выбежала на улицу. Люди собирались в их дворе, и она, увидев это, испугалась, ноги у нее подкосились. Тут кто-то спешно проходил мимо, и женщина не удержалась, спросила:

— Добрый человек, что случилось в том доме?

— Да не знаю, — ответил прохожий. — На кого-то там лестница свалилась, на жука, что ли...

Женщина побледнела и, сорвавшись с места, помчалась к дому.

Мужчина так и остался на месте, глядя ей вслед и недоумевая: «Странно! Из-за какого-то жука так бледнеть и так бежать...»

КАЙСЫН

Утром Кайсын¹ отправился на сельскохозяйственную выставку. Он шел медленно, тяжело и твердо ставя ноги, словно при каждом шаге вбивал их в землю. И путь он выбрал не по главной улице, как все люди, а через нижний бетонный мост, по отлогому каменистому берегу Терека, потому что, щадя нервы, не выносил суеты и суетолоки.

Шагал он в глубоком раздумье, и со стороны казалось, что его большая и грузная фигура всей своей тяжестью придавливает землю. Огромная голова, выставленная вперед и низко склоненная вниз, не падала, видимо, только потому, что держалась на толстой, как у буйвола, шее, исполосованной вздувшимися жилами. Когда-то жирный и двойной подбородок обвис и сморщился, вздрагивал дрябло при каждом шаге. Серебряный пояс сполз с опавшего живота, галифе из серого сукна наползли на голенища сапог, грубых и старых, которые, казалось, хотели уже давно смешаться с землей.

Заложив за спину красные жилистые руки, Кайсын помахивал пожелтевшей от времени палкой. Наряд Кайсына, несмотря на довольно поношенный и полинявший вид, все-таки производил впечатление добротности и как нельзя лучше соответствовал облику хозяина: да, такие люди, как он, лиляют, но не изнашиваются.

Но чем привлекла Кайсына выставка?

Там он, надеялся присмотреть хорошей породы корову и, если удастся, купить от нее телку. Не лишне также будет узнать, как лучше ухаживать за скотом...

Не так давно он ушел из колхоза, на окраине города получил небольшой участок земли, построил на нем домик и зажил горожанином.

Новые соседи величали его Константином Алексеевичем, но жить в городе было не так-то легко. Даром здесь ничего не давалось, надо было что-то предпринимать. Глубоко задумавшись над дальнейшей своей жизнью здесь, Кайсын купил лошадь и линейку, стал без особого труда подрабатывать. Жить можно, но скопить копейку прочерный день никак ему не удавалось.

Продал Кайсын лошадь и линейку, а купил осла с арбичкой. Конечно, заработки были не такие, как ему хотелось, но все же приличные. А тут, как на грех, финанс-инспектор! Тут уж не растолстеешь, только бы концы с концами свести.

Призадумался Кайсын и решил оставить это занятие. Да и в самом-то деле, к лицу ли такому человеку, как он, целыми днями возиться с мусорными ящиками, развозить

людям барду, глотать известковую и угольную пыль? Что и говорить, работа — хуже некуда. И он, всеми уважаемый Кайсын, разъезжает по городу на ишаке! Встретится, бывало, кто-нибудь из односельчан, особенно из тех, на кого он еще не так давно смотрел сверху вниз, — от стыда и унижения провалиться сквозь землю хочется!

После такой вот встречи запала в душу Кайсына новая задумка: купить коров и заняться продажей молока. Воодушевленный этой мыслью, Кайсын нашел также способ, как обойти фининспектора. Чтобы тот не смог к нему придраться, коров он решил оформить на племянников, круглых сирот.

Продал Кайсын злополучного осла и купил на вырученные деньги корову. А какую именно купить, тут уж Кайсына не надо было учить — лучше его в дойных коровах никто не разбирался. И как кормить ее — Кайсына тоже учить не стоит...

Теперь Кайсын рано утром, как только жена подоит корову и отправится с молоком на базар, накручивает на руку веревку и выводит кормилицу пастись. Водит ее по пыльным обочинам дорог, под кладбищенскими заборами, по заросшим редкой травой канавам — пасет, где только можно. Пощипывает буренка травку, а Кайсын погуливает — не работа, а одно удовольствие. И выгодно, и приятно...

Дела теперь, как ему казалось, пошли у него наконец хорошо, и Кайсын купил еще корову. Она была еще лучше первой: три тысячи литров давала в год, это вам не шутка! И соседи удивлялись: вот так чудо!

«Если на выставке будут еще лучше коровы, то уж он, Кайсын, раздобудет от них телочку!» — похваливал он себя мысленно, шагая тяжелой поступью берегом Терека.

На выставке он прошел, нигде не задерживаясь, в павильон животноводства, где находились коровы. Останавливаясь перед каждой из них, Кайсын первым делом подолгу и внимательно изучал паспорта: 3900 килограммов!.. 4200 килограммов!.. 5700 килограммов!.. 6700 килограммов!.. Причем не литров, а килограммов! Эх-хе... Но не такой уж дурак Кайсын, чтобы верить всем этим цифрам! Ведь всем хочется занять первое место, вот и подливают тайком к удою своей коровы молоко других коров — Кайсын это сразу разгадал, его не проведешь!

Этим открытием он старался успокоить себя, но зависть гладала его душу, прямо-таки в тиски брала сердце!.. Вика — 6400 килограммов. «Килограммов опять же, не литров! Это же гораздо больше, чем литров!» — восклицает мысленно Кайсын. И подсчитывает доход от нее: «Каждый литр на базаре можно продать по... И это только от одной коровы! Вычесть расходы на нее, все равно чистыми получится!..» Две его коровы дают пять тысяч литров, а тут одна Вика — шесть тысяч четыреста, не литров опять же, а килограммов!..

Кайсын тут словно врос в землю — нет сил отойти от Вики, и все! Эх, достать бы телочку вот такой породы. Если бы нашелся в том казачьем колхозе хотя бы один знакомый человек...

Он с надеждой оглядывался вокруг — а вдруг окажется кто-нибудь из знакомых, поможет ему. В конце павильона люди, столпившись, рассматривали какую-то, совсем уж редкой породы, корову. Видать, уж очень красива эта корова! Но Кайсын разве до красоты, ему бы только была она высокоудойная! Не замуж ее выдавать, в самом-то деле!..

Оборачиваясь на приглянувшуюся ему Вику, Кайсын направился к людям.

— Тыфу, — сплюнул от досады Кайсын, когда прочитал на дощечке надпись: «Кличка Роза. Отелилась дважды. В 1955 году дала 9600 килограммов молока. Зав. фермой Галау Губаев».

Сразу предстал перед глазами Кайсына его односельчанин, веселый и остроумный Галау. Любил он с детства животных... Даже когда батрачил у кулаков, Галау ухаживал за ними, как за своими собственными. Потом его послали учиться на зоотехника... Но чтобы получить от одной коровы девять тысяч шестьсот килограммов... Нет, разве можно этому поверить! Но Кайсын снова принялся за подсчеты... Да и теперь у него появилась надежда — раз Галау заведует фермой, то ведь должен он помочь своему односельчанину, не откажет же он ему...

К счастью, появился и сам Галау. В новой коричневой черкеске, в бухарской шапке и начищенных до блеска сапогах. Кайсын радостно приветствовал старого друга и, не мешкая, сразу приступил к делу.

У Кайсына даже челюсть выдвинулась вперед больше обычного. Нижняя губа от-



топырилась, и когда он заговорил о теленке, со стороны можно было подумать, что говорит он свысока, пренебрежительно. Кроме того, Кайсын еще немножко гнусавил, — тут уж можно было подумать, что говорил он сердито.

— Сколько же вы тут добавили? — кивнул он на дощечку.

— Куда? — удивился Галау.

— Да к молоку вашей Розы.

— Если ты имеешь в виду по сравнению

с прошлым годом, то две тысячи четыреста килограммов.

— Ты мне скажи прямо, без всяких сравнений. Сколько от других коров добавили, приписали?

Галау искренне рассмеялся:

— Так ты хочешь сказать, что мы ради первого места на выставке добавляем к удою Розы молоко других коров?

— Само собой разумеется, не воду же вы добавляете...

— Роза не нуждается в таких хитростях, — серьезно сказал Галау. — Она сама дает столько.

— Для нее хватило бы и половины написанного здесь... А сколько раз вы ее доите?

— Дважды в день.

— А сколько дней в году она дает молоко?

— Около трехсот.

Кайсын больше ничего не спрашивал, подсчитывал: Тридцать два килограмма в день... Ого, это же сколько деньжищ! Только зачем же они так обманывают? Умереть же можно со смеху!..»

Галау взглянул на карманные часы:

— Кайсын, ты всегда был недоверчивым. Тебе приходится доказывать, что молоко белое. Через сорок пять минут у нас начинается дойка. Можешь убедиться своими глазами, сколько Роза дает молока. И какого оно цвета...

— Ну что ж, — согласился Кайсын, — погляжу на полеводство и на обратном пути заверну к вам. На такое чудо не жаль взглянуть...

Қайсын без интереса бродил по выставке, независимо заложив руки за спину и покручивая, как пропеллер, свою палку. Да и что могло показаться ему интересным, если все его мысли теперь были о Розе. «Во что бы то ни стало, — размышлял он, — но заполучу корову такой породы. Заиметь такую в городе — вся семья будет купаться в молоке!» Ходил и наслаждался подсчетом доходов, которые могла дать такая корова, как Роза.

«Теперь надо обязательно подружиться с Галау. Щедрое угощение и льстивые слова сделают свое дело. А если дать ему еще небольшую взяточку... О-о, Кайсына не надо учить, как надо жить!»

И снова Кайсын, в который раз, углубился в свои подсчеты. Вдруг на глаза попался ему планшет: «Колхозник колхоза имени Ленина Галау Губаев в 1955 году на свои трудодни получил: кукурузы — 8200 килограммов, пшеницы — 5300 килограммов, картофеля — 11 200 килограммов, подсолнуха — 620 килограммов, сыра — 122 килограмма».

Кайсын опять-таки принялся за свои подсчеты, и надо отдать ему тут должное — считал он превосходно!

«И надо же! — возмущался он. — Когдато у Галау за душой не было рубля, штаны не на что было купить. Теперь же он за один год получил десятки тысяч! Ох, как меняются времена...» Если бы он, Қайсын, остался в колхозе, никогда не был бы в числе последних! Но кто знал тогда все наперед? А тут еще жена подзуживала: «Да-

вай да давай, Кайсын, поживем и мы немножко в городе!»

Грустно стало Кайсыну. Даже красавица Роза потускнела в его воображении, отошла на задний план. Считал и считал он доходы Галау и все больше огорчался.

Занятый своими мыслями, Кайсын, не помня себя, вновь оказался возле Розы. Поглядывая как-то побито на Галау, Кайсын не удержался, произнес своим брюзжащим голосом:

— Ну и получил же ты, Галау, добра на свои трудодни! Славно, славно тебя одарили!

— Как это — одарили? Никто ничего так просто не дарит. Это все то, что я заработал.

— И все, что там написано, тебе привезли домой?

— А кому же? — поразился Галау. — Не могли же мой заработок отвезти в чужой дом.

— Другим колхозникам заплатили так же, как и тебе?

— Каждый получил столько, сколько выработал трудодней.

— Но тебе наверно, дали по десять килограммов на трудодень, а другим-то по килограмму?

— Э-э, нет! В колхозе никто так не делает, — рассмеялся Галау.

Пришли доярки с белыми бидонами, стали налаживать электродоилки. Одна из них поставила подойник под Розу. Галау включил ток. Тугая струя молока упруго ударила в дно подойника.

«Черт возьми! — с восхищением невольно подумал Кайсын. — Ловко придумано! Доилки сосут их, как телята, а коровы даже не обращают на них внимания. Но если Роза не даст столько молока, сколько они тут понаписали, как станет выкручиваться тогда Галау!»

Но когда после дойки Кайсын взглянул в бидон, он от удивления не произнес больше ни одного слова.

Как он ни упрашивал, зазывая Галау в гости, тот никак не соглашался идти к нему в дом. Тогда Кайсын отважился начать разговор о деле прямо здесь, в павильоне.

— Галау, мы с тобой односельчане, — начал он издалека, — мало того, мы еще и родственники. Ты должен меня выручить...

— Пожалуйста, — охотно согласился Галау. — Я готов тебе помочь...

— Будь добр, помоги мне достать телочку вот такой породы. — Кайсын показал рукой на Розу.

— Как это — достать? — не сразу понял односельчанин.

— Ну, сделай так, чтобы ее теленочек достался мне. Я тут подсчитал, как прибыльно держать такую корову! Она всю мою семью будет кормить, как мать родная...

— Да, ничего не скажешь: Роза прибыльная корова! — подтвердил Галау. — Есть что подсчитывать. Однако ты не учел кой-чего, прежде всего то, что она — колхозная корова!

— Выходит, что я не сумею ухаживать за такой коровой?

— В том-то и все дело, Кайсын, что не

сумеешь, нет! Ты думал о прибылях, а не подумал о том, что такую корову можно держать только в колхозе. В домашних условиях не сможешь ухаживать как следует.

— Интересно, почему же?

— Да потому, что она привыкла пить, к примеру, чистую, теплую воду, пить, когда захочет. — Галау нажал на клапан автомоилки, и в эмалированную чашу потекла прозрачная струя. — Потом она привыкла к электродойке. А где ты возьмешь такой аппарат? Затем за ростом, за весом, за качеством молока в колхозе следят зоотехник и ветеринарный врач. Ты что, будешь каждый день приглашать их? К тому же у Розы особый рацион и режим. А у тебя что? Барда да барда!

— Не уморил бы я ее с голоду...

— Говорю же тебе: ей нужен особый рацион. Не будет этого, не будет и молока столько давать.

Только теперь Кайсын убедился, что Галау прав. Таких коров, как Роза, нельзя держать в личном хозяйстве. Не по себе стало ему...

— Очень уж вы изнежили их в колхозе, — проворчал недовольно он и все-таки, теперь уж без надежды, спросил: — Значит, никак нельзя заполучить телочку?

Галау развел руками:

— Нет, при всем моем желании...

— Что ж, тогда до свидания, — угрюмо сказал Кайсын и поклонился. — Хотелось заметить телочку, но ты по-дружески не хочешь помочь, что делать...

Тут Галау прервал его:

— Послушай-ка, Кайсын! Возвращайся в село, вступай снова в колхоз. Вместе работать будем, и будут у тебя такие телочки...

Предложение старого друга разберило старую рану в душе Кайсына, взбудоражило его. Недоверчиво, с хитрецой посмотрев на Галау, он сказал:

— Да кто же теперь меня примет в колхоз? Все скажут: в трудное время не остался с нами, теперь ты нам не нужен...

— Не скажут. Попроси как следует, и примут. Народ у нас, сам знаешь, не злопамятный.

Возвращаясь берегом Терека домой, Кайсын размышлял: «Да, неплохо было бы вернуться домой. Только примут ли? Галау утверждает, что примут, но его устами мед бы пить... Колхозников ведь много, и, конечно, найдутся такие, которые скажут: «Когда трудно было, ты подался в город, а теперь...»

С каждым шагом Кайсын все более и более убеждался в том, что надо возвращаться в колхоз. Без него ему уже нельзя — это он осознавал все яснее и яснее. Он сожалел, что в трудное время покинул колхоз, не был вместе с теми, кто эти трудности преодолевал... Не давали ему покоя и богатства, полученные Галау за один только год, и думал о том, что было бы, если бы он, Кайсын, остался в колхозе. Ведь он не хуже умеет работать, не хуже, — может, даже лучше, вот что обидно...

Вспомнил Кайсын, что на груди Галау висели награды, — кажется, два ордена, и

медали, и золотая медаль сельхозвыставки. Ему — богатство и почет... А ведь все это могло быть и у него, Кайсына. Как же он тогда, Кайсын, ошибся! Не таскался бы теперь день-деньской по обочинам дорог со своими коровенками... Да, коровенками, потому что они по сравнению с Розой — просто козы.

Надо возвращаться в село, обзаводиться хозяйством, начинать новую жизнь. Может, только жене еще не надоела городская жизнь... Да нет, замечал он, что и она пока робко, но начинала жаловаться на нее.

— Вернусь, и немедленно, — произнес решительно, твердо Кайсын.

Он шел, вонзая палку в мокрый песок, и ему казалось, что тяжесть, которая столько лет его придавливала к земле, теперь не чувствовалась.

1954

БРИГАДИР ГАВДЫН

Поздний вечер. Жители села спят. Только кое-где светятся окна домов. На улицах ни души, и свет электрической лампочки, укрепленной на высоком столбе на главной улице, кажется бесполезным. Но вот из-за поворота улицы в круге света показывается фигура человека огромного роста, сутуловатого, подобного уаигу-великану. Он шагает, опираясь на палку, по грязной от осенних дождей улице.

Это Гавдын Бототи, бригадир третьей бригады колхоза имени Ленина, старый опытный земледелец. «Живу я на этом свете семьдесят лет, — бывало, рассказывал он, — и из них шестьдесят работаю на земле. Нашу землю я знаю так, что попадись мне не только агроном, но даже студент (Гавдын с давних времен помнил, что нет человека образованнее студента), и тогда не он мне укажет, а я ему покажу, как надо землю обрабатывать».

Но в этом году он усомнился в своем

умении. Ему показалось, что, шестьдесят лет вспахивая землю, как вол, он не замечал своей скрытой от него самого настоящей силы. Еще когда предки его переселились сюда с гор, земля была скучной. С тех пор она из года в год истощалась, и на десятине ни разу не уродилось больше ста сорока пудов кукурузы, каким бы урожайным ни был год. А вот сегодня подвели итог работ бригады, и оказалось, что с каждого из трех опытных гектаров его звена сняли по шестьсот два пуда, а с остальных десяти — по четыреста шестнадцати пудов. Порадовала Гавдина его трудовая удача. С раскрасневшимся от волнения, улыбающимся лицом он ушел домой.

Но когда он улегся спать, не мог заснуть от тревожных мыслей. Как это он всегда хвастался, что лучше всех знает землю? И он начал считать, сколько за все годы загубил зерна, и пришел в ужас. Он метался по постели, словно это была раскаленная плита. Еще бы! Ведь он засевал ежегодно по меньшей мере три десятины. Не считая засушливых годов, он собирал с десятины по сто сорок пудов. Значит, в год с трех десятин он не снимал тех тысячи четырехсот пудов, которые можно было снять. Проработав шестьдесят лет, он оставил в земле сто десять тысяч пудов. Кто же виноват в этом? По чьей вине пропало зря столько хлеба? По его вине. И потому только, что он, как вол, рыл землю, ничего в ней не понимая. Мало того: и в этом году почему-то, кроме опытных участков, с гектара не сняли по шестисот пудов. Выходит, что в

земле осталось две тысячи пудов. Значит, они, как кроты, роют землю, не видя ничего, не понимая в науке. Так дальше нельзя работать!

И у старого Гавдына совсем пропал сон. Он долго ворочался. Вспомнил и о том, как ему было приятно, когда председатель говорил, что его, Гавдына, пошлют на совещание передовиков сельского хозяйства, как он был горд собой. Ему было чем похвалиться. А сейчас? Как же он покажется на глаза тем, кому он в прошлом году дал слово? Придется давать новое слово о работе будущего года. К будущему году можно успеть все разузнать про землю. Завтра — в город, а вот сейчас надо непременно договориться с Мысырби, лучшим работником его бригады.

Он встал, не зажигая света, оделся и вот в неурочное, ночное время идет к Мысырби.

II

Он тронул ворота. Они оказались незапертыми, — видимо, старший сын Мысырби, колхозный бухгалтер, еще не пришел.

Входя во двор, Гавдын споткнулся и упал на что-то мягкое, что спасло его от ушиба. Это оказалась спина коровы, с которой он и скатился на землю. Корова не встала, а только глубоко, словно простонав, вздохнула. Ее дыхание обдало лицо Гавдына.

— Чтоб тебя чума не взяла! Разлеглась у самой двери, — проворчал он.

Ощупывая палкой дорогу, Гавдын пошел дальше. На него зарычала собака, но, узнав его голос, не залаяла. Гавдын знал, что Мысырби спит один в большой комнате. Дверь оказалась запертой изнутри.

— Стариk боится похищения, как молодая девушка? — проворчал он и позвал Мысырби. Позвал негромко, боясь разбудить остальных. Но когда ему никто не ответил, он позвал погромче и слегка потряс дверь.

Раздался сиплый голос Мысырби:

— Кто там? Обожди, иду.

Послышался скрип кровати и шлепанье чувяков по полу. Сквозь оконные занавеси пробились яркие лучи света: Мысырби зажег электрическую лампочку. Загремел деревянный засов, и дверь открылась.

Мысырби был в нижнем белье, в носках и чувяках. Он удивился, увидя Гавдына, хотя и привык, что тот в страдную пору полевых работ приходил к нему ночью всякий раз, как придумывал что-нибудь новое для повышения урожайности и не мог дотерпеть до утра, чтоб не поделиться с ним. Ходил он так только к Мысырби. Другие были моложе, да и понимал он его лучше других. Но то было в рабочую пору, а сейчас работы закончены, людям раздают зерно.

— Откуда это ты в такое время? Входи, входи.

— Я еду завтра на совещание, — сказал Гавдын, входя в комнату, — и нам с тобой надо поговорить. Кто их знает, этих Гадак-ко Созавати, Габери Дойати, Шумахо, опять они вызовут на соревнование к будущему

году, и мы должны посоветоваться, что им сказать.

Гавдын поставил свою палку к печке и сел на низкую скамеечку. Он хорошо знал, что Мысырби подвижной старик и, даже слушая кого-нибудь, не может оставаться без дела; поэтому, не ожидая, чтобы тот оделся, стал говорить. Мысырби слушал, а сам сгребал в печке тлеющие угли, потом поставил на них чайник араки и бросил туда перцу. Затем стал возиться с хлебом, прерывая свои дела, только чтобы подтвердить слова Гавдына:

— Верно говоришь, совершенно верно.

А Гавдын спокойно продолжал:

— Уже сейчас надо поработать для урожая будущего года. А с чего начать? Прежде всего отобрать семена получше.

— Это ты верно говоришь.

— Второе: надо заготовить навоз. Зря его навозом назвали, это не навоз, а золото.

— И это верно. Но его нелегко найти, хватают все, будто и в самом деле золото.

— Дороже золота, Мысырби, дороже. Надо уже сейчас свозить на наш участок навоз, прежде всего с наших с тобой дворов, а потом где удастся. Обойдем всех.

— Что же, нам на старости лет самим навоз возить?

— Ничего тут нет постыдного, Мысырби. Было стыдно, пока навоз называли навозом, а как узнали, что он золото, то никто не станет смеяться, на нас глядя.

Мысырби накрыл стол. За этим малень-

ким круглым столиком старики любили покушать.

— Есть у меня и баранина, и яйца, только я приготовить не умею, а будить сейчас женщин не годится: устали они.

— Очень хорошо и так. Свежий сыр, хлеб, теплая арака, разве плохое угощение?

Долго еще разговаривали старики и за разговором понемногу ели и пили.

Только когда пропели вторые петухи, Гавдын ушел домой, а Мысырби начал думать, какие работы надо провести, пока Гавдын будет в городе.

III

Хорошая мысль пришла в голову Мысырби: в колхозном скотном дворе можно собрать много навоза, надо только добраться до него, а конюхом там его старый друг Налык Уасати. Рано утром Мысырби отправился на скотный двор. День был туманный. Холодная сырость пробиралась сквозь тулуп. Налык вычищал навоз из сарая.

— Доброе утро, Налык.

— Да благословит тебя бог. Что это ты в такую рань?

— Так... Было у меня одно дело на верхней улице, вот и завернул к тебе, дай, думаю, взгляну на своего старого друга. А ты чего так рано вздумал чистить сарай?

— Как я понимаю, Мысырби, коровам так же неприятен запах навоза, как и людям. Они от этого худеют и, как видно,

молока дают меньше. Вот и надо, значит, поскорее его выбросить. Я так понимаю.

— Может быть, это и так.

Помолчав немного, Мысырби сказал:

— Пусти-ка, я тебе помогу. Хоть ты и моложе меня, но ты ведь болел сильно.

И он отнял у Налыка вилы. Ни словом не обмолвившись даже своему другу Налыку о своих планах, Мысырби стал выносить навоз и складывать в кучку за сараем. Выслушав благодарность Налыка, он пошел в село, собрал членов бригады, разъяснил им, что он решил вместе с Гавдыном, и рассказал про свои соображения. В тот же день члены бригады запрягли три арбы и стали вывозить навоз со своих дворов.

С улыбкой смотрел на их работу председатель колхоза:

— Поглядите-ка на бригаду Гавдына: не сказав никому ни слова, они уже подумали о будущем урожае.

С этого дня Мысырби каждое утро ходил на колхозный двор помогать Налыку чистить скотный сарай. Налыку было неловко, и он возражал против этой помощи. А Мысырби возражал на это:

— А кому же помогать, как не старому другу? К тому же ты измучен болезнью, и я обязан тебе помочь. Как же иначе?

Однажды, убрав сарай, Мысырби шел по селу и, увидев вдали арбу, удивился, кому это понадобилось в эту пору ехать в поле? Когда арба поравнялась с ним, он увидел, что это сын Биборца Галазати, Федя, из второй молодежной бригады. В арбе был навоз.

Он ответил на приветствие юноши, а сам подумал: «Непоседа. Поглядел на нас и тоже набросился на навоз. И в прошлом году он тоже с нами тягался. Нет, мое сокровище, у вас еще кишка тонка тягаться со старой «молодежью». А ведь они тогда чуть было не вышли с нами вровень. Земля у них каменистая». Он и сам не понял, почему он осудил юношу. Надо было похвалить его, а он... Как бы другие бригады не вывезли навоз, который он собрал из колхозного сарая. Нужно что-нибудь придумать.

И он вернулся на колхозный двор. Осмотрел сарай. В одном его конце было отделено помещение, крыша которого провалилась, и оно пока пустовало.

— Послушай, Налык, говорят, что из города приехали гости смотреть наш колхоз. Вот я и подумал: а что, если они вдруг к Налыку заявятся? Увидят у сарая навоз и скажут: «Если у них столько навоза у сарая, то сколько же в самом сарае осталось?» Опозоримся мы тогда.

Он сказал это таким искренним тоном, что нельзя было не поверить.

— Вот сюда и сложим его, чтобы он глаза не мозолил, — сказал он, уминая в пустом помещении рыхлый навоз.

Когда навоз был убран и дверь в помещение закрыта, он с легким сердцем пошел по селу. С этого дня он начал носить навоз из сарая в найденное им помещение.

Однажды рано поутру, прия на колхозный двор, он увидел следы арб и разбросанный по земле навоз. У старика защемило сердце. Торопясь, он прошел прямо туда,

где хранился навоз. Дрожащей рукой открыл дверь. Помещение было пусто.

Мысырби стоял как окаменелый. Что скажет бригада? Что скажет Гавдын? Его кто-то надул и забрал навоз. Рассердился он и на Налыка: не углядел! Хотя он ни о чем не предупреждал Налыка, ничего ему не наказывал.

— Что же ты наделал, голубчик Налык?

— А что? Почему ты меня так спрашиваешь?

— Я собирал навоз для своего участка, а ты его кому-то подарил. Говори, кто его увез?

— Откуда я знал, что ты для себя собираешь? Если бы знал, то и не пустил бы их. А я даже обрадовался, что он его увез.

— Кто это он?

— Федя, сын Бибоца Галазати. Вчера вечером он зашел ко мне и спрашивает: «Нет ли, говорит, у тебя, Налык, навоза? Он тебе, наверно, мешает, так мы его вывезем». — «О, — отвечаю я, — да приму на себя все ваши беды». И показал ему, где навоз.

— Сам же ему и показал?

— Я ведь ничего не знал.

Мысырби вскипал:

— Набрасываются, как голодные волки!

— Сегодня, с петухами, приехали на двенадцати арбах. Даже коров своих позапрягали.

— Куда они его повезли?

— К дальнему полю.

Вскоре после этого Мысырби скакал на неоседланном коне в сторону дальнего поля.

Дорога была исполосована свежими колесными следами. Мысырби мчался во весь опор, боясь, что не успеет и навоз будет разбросан по полю. Навстречу ему ехала бидарка. В ней оказался Гавдын, которого сын вез со станции. Встретившись, они остановились.

— Куда это ты несешься, Мысырби, на неоседланном коне, словно по тревоге?

— Да, Гавдын, по тревоге: сын Бибоца украл наш навоз.

— Как наш навоз? Он говорит, что это с колхозного двора. Они мне только что встретились. А я еще подумал: «Совсем ребенок, а догадался взять навоз из сарая, а вот Мысырби, опытный человек, а...»

— Ладно, Гавдын, об этом потом поговорим, а сейчас надо их догнать, пока они не разбросали навоз.

Мысырби изо всех сил ударил коня пятками. Конь с места пошел рысью.

Гавдын посмотрел ему вслед, потом велел сыну повернуть обратно и гнать во всю мочь. Если успеют разбросать навоз, его уже не соберешь. Лошадь мчалась так, что Гавдын натягивал вожжи, чтобы попридержать. Комки грязи с задних колес перелетали через головы седоков и шлепались впереди на дорогу. Обогнали Мысырби. Усердно колотя ногами своего коня, он крикнул Гавдыну:

— Скажи ему, чтобы он не разбрасывал навоз! Клянусь прахом отца, я заставлю их по кусочку его собирать!

Пока Мысырби доехал до участка Феди, навоз из двух арб был уже разбросан по



полю. Остальные десять арб стояли в стороне. Гавдын спорил с Федей:

— Иарабын! Этот навоз никому не принадлежит. Я сам выпросил его у Налыка.

— Думаю, что Мысырби прав, он не из таких стариков, чтобы болтать попусту.

— И я это всегда говорю, но почему он за нами погнался, не понимаю.

Конь Мысырби как вкопанный стал перед людьми.

— Мальчишка! Над кем ты издеваешь-

ся?! — возмущенно сиплым голосом крикнул Мысырби.

— Ты, Мысырби, старик и не сердись. А мы ни над кем не издеваемся. Мы попросили у Налыка навозу, он нам его дал, и вот мы его привезли сюда, на наш участок, и больше мы ничего знать не знаем.

— Попросили! А что ради этого навоза Мысырби сделался уборщиком, что он собирал навоз для своей бригады, этого ты не знал?

— Не знал. Иначе бы мы его и не тронули.

Ясно было, что юноша говорит искренне, а Мысырби понапрасну горячится. Он это понял, смутился и еще больше рассердился:

— Это мой навоз! И я заставлю вас собирать его по кусочку.

— Конечно, соберем. Разве мы посмеем не исполнить приказания почтенного старика?

— Оставь, Мысырби, — вмешался Гавдын, — молодые они, по неопытности и ошиблись.

— Хорошо, — успокоившись, сказал Мысырби, — тот, что они разбросали, я не заставлю собирать, а вот остальные арбы пусть обратно отвезут.

— Зачем обратно везти? — сказал Федя. — Ведь участок вашей бригады здесь, близко. Чем впустую работать, лучше мы вам поможем. Мы ведь с вами небось из одного колхоза.

«Ишь какой мальчик. Умно рассуждает, как взрослый мужчина», — подумал Мысырби и сказал, обращаясь к Гавдыну:

— Ну их! Пускай вывалят еще три арбы. Видно, они без плохого умысла это сделали. Дети! Пусть и их труд не пропадет даром.

IV

Как по лесу, идут Гавдын и Мысырби среди высокой и толстоствольной кукурузы. Сердца их полнятся радостью: вот они, плоды их усердных трудов, крупные, с полно-весными зернами початки, по четыре, по пять на каждом стволе. Идут старики медленно и молча, а мысли у них одинаковые.

Мысырби вспоминает, как сын Бибоца увез его навоз и как они его потом поделили. Вспомнив, старик улыбнулся.

Гавдын вспоминает собрание передовиков сельского хозяйства, как дал он там слово вырастить самый высокий урожай. Вспоминает, как люди бригады собирали навоз, золу, куриный помет, как пахали, как зимой ремонтировали инвентарь. Весной — шахматная посадка, несколько вспашек, несколько прополок. Все в бригаде, да и во всем колхозе работали с охотой, никого уговаривать не приходилось. И вот награда за труд — зрелые и обильные поля кукурузы. Бригада Гавдына выполнила свое слово. Теперь надо думать о следующем где, искать средства добиться от земли еще большего плодородия.

Не замечая усталости, с веселыми лицами, все дальше идут два старика. Вот поднялись они на высокий холм. Отсюда видны

во всей красе своей поля колхоза имени Ленина. Старики уселись на камни и продолжают молчать. В такую минуту лучше молчать и думать.

Смотрит Гавдын вдаль своими старыми глазами и словно видит дальше, чем можно видеть. Видит не только то, что сделали люди, но и то, что они еще сделают.

1958

БОЛЬНИЦА ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ

Все же осетинский *нихас* есть *нихас*. Нет-нет да и соберутся на него мужчины со всей улицы: приводят их сюда единственная забота — поделиться новостями, посмешить друг друга. Когда же на *нихас* приходят такие весельчаки, как Дзула Цыхтаев, шуткам, смеху конца не видно.

«Цыхт» по-осетински — сыр, «дзул» — хлеб. Свое имя парень получил за то, что был остер на язык.

Случилось это еще давно, до революции. Парень срубил в алдаровском¹ лесу дуб для починки сарай. На выезде из леса его перехватили два кабардинца — лесники алдара, отобрали топор.

— Как фамилия? — спросил старший лесник.

— Цыхтаев, — ответил Дзула.

«Цыхтаев», — записал у себя старший лесник.

— Имя?

¹ Алдар — князь.

— Если это тебе так нужно знать, то —
Дзула.

— Отчество?

— Бахордта¹.

— Значит: Цыхтаев Дзула Бахордтаевич. Правильно тебя записали?

— Правильно. Наверное, крестные не нашли для меня лучшего имени.

— Хватит болтать. Проваливай домой, штраф с тебя получит сам алдар.

Приехав домой, Дзула так хорошо запрягал дубовые подпорки для сарая, что их и сам шайтан не нашел бы.

Вскоре на кровном кабардинском жеребце налетел алдар со своими слугами. Начались поиски Дзулы Бахордтаевича Цыхтаева. Обрыскали весь аул, опросили всех горцев — никто никогда не слышал такого имени.

«Есть у вас такой человек, есть, но вы хотите скрыть его!» — разозлился алдар. Когда ему объяснили, что означает это имя по-русски, алдар понял, что кто-то поиздевался над ним, и, не сказав больше ни слова, ускакал в свои владения.

А парня так и прозвали — Дзула Цыхтаев. Его признали первым острословом, шутником в ауле, он стал душой нихаса, и до сих пор по вечерам вокруг Дзулы собираются горцы. Не пустует нихас и днем. Хохдзу Ханазов, Саукудз Тонаев и многие старики чуть не с утра занимают там, на образующих круг камнях, свои излюбленные места, заводят медлительные беседы, пускаются в бесконечные воспоминания.

¹ Бахордта — покушал, съел.

Самым старшим среди них является Хохдзу. Дзула недавно исполнилось семьдесят семь лет, а когда он родился, то Хохдзу уже давно имел сына.

Однажды в предзакатный час, когда старики, по обыкновению, собирались на нихасе, Хохдзу сказал:

— Да пребудет мой бог таким же всемогущим! Только почему он не поймет, что моя жизнь уже никому не нужна? Неужели он не нагляделся на меня за целый век? Или хочет, чтобы мои мучения продолжились?

— Какие мучения? — остановил его Дзула. — Признайся, Хохдзу, что в последнее время ты не бедствовал. Так почему же ты в обиде на бога? Он же ведь не послал тебе столько мук, сколько их пало на долю твоих предков? Уже давно тебя не притесняют алдарты. Ты уже не живешь в полутемной сакле, крыша которой являлась двором для твоего верхнего соседа. А разве ты по-прежнему питаешься одним кукурузным чуреком с чашкой сыворотки? Или, может, ты гнешься на кого-то свою старую спину и не пользуешься заслуженным отдыхом вот здесь, на нихасе?

Дзула любил вызывать Хохдзу на такие разговоры.

— Поэтому я и в обиде. Почему бог не дал мне эти беззаботные дни в молодости? Зачем они мне сейчас, на старости лет? Почему бог не посыпает мне смерть?

— Прости, Хохдзу, я моложе тебя, но все же скажу: лучше прожить один день на этом свете, чем тысячелетие на том.

— Да, — только и промолвил Хохдзу, не зная, что ответить на эти слова.

Закатные лучи осветили ближние горы, густо покрытые лесом. Вечные ледники на вершинах дальнего хребта заиграли розовыми бликами. Из ущелья заметно потянуло свежестью, прохладой. Длинные тени тянулись от двухэтажных домов, от спускавшегося уступами сада, перерезая крутые каменистые аульные тропки. Блеяли вернувшиеся с пастбища овцы.

— Меня вот что удивляет, — продолжал неугомонный Дзула, и в глазах его, и под седыми усами заиграла улыбка. — Вот тебе хотелось бы в наши дни побывать молодым. А почему бы тебе не пойти в больницу для престарелых?

— Разве есть такая больница?

— А ты думаешь, где я был целую неделю?

(У Дзулы в соседнем ауле заболел внук, и все это время он провел у его постели.)

— Да пошлет тебе бог счастья. Я еще сам хотел спросить у тебя: где ты пропадал целую неделю?

Сидевшие рядом старики заметили улыбку Дзулы и поняли, что он опять придумал какую-то шутку. Они внимательно стали слушать, готовясь вдоволь посмеяться.

— Если хочешь знать, Хохдзу, где я был, скажу точно: в больнице. Такую больницу открыли в городе, и там всех стариков превращают в молодых.

Хохдзу проявил некоторые признаки заинтересованности.

— Как это так?

— Очень просто. Видел ты когда-нибудь, как бухгалтер перебрасывает косточки счетов? Так и доктора. Свободно могут сбросить каждому из нас несколько десятков лет. За месяц столетнего старца сделают двадцатипятилетним юношей. Тогда, пожалуйста, пой, танцуй, седлай коня, как молодой джигит...

— Не справлялся случайно: кому-нибудь помогло?

— Зачем справляться? Я и сам знаю. Помнишь нашего Чебо? Лет сорок назад он со своими правнуками переселился с гор на равнину.

— Как же не помнить Чебо! Когда я еще был малышом, он уже заменял в доме мужчину. Неужели Чебо еще жив?

— Жив. Чудеса хочу о нем тебе рассказать. Сейчас Чебо лет сто тридцать. Когда в городе открылась больница для престарелых, внуки сразу отвезли его туда и начали лечить.

Теперь Хохдзу, чтобы лучше слышать, оттопырил рукой свое волосатое ухо. Его коричневое, изборожденное морщинами лицо в желтой от старости бороде выражало напряженное внимание, глаза, глядевшие из-под бараньей шапки, утратили безразличное выражение. Он сидел в поношенном бешмете, в суконных ноговицах, — живой осколок прошлого.

— И это помогло Чебо?

— Как тебе сказать?! Дело это новое, как во всяком новом деле, есть большие трудности. Чебо уже третий месяц лечится в больнице, а всего помолодел на сорок лет.

За три месяца только на сорок лет! Разве это много?

— Все-таки столько сбросили?

— Трудно поддается старость излечению, очень трудно, врачи сами признают.

— Что трудность? Чепуха... Главное — помолодел.

— В хорошем исходе дела никто не сомневается. О Чебо врачи говорят, что еще через три месяца выпишется двадцатипятилетним юношей.

Старики не в силах больше скрывать улыбки. Лицо Дзулы, наоборот, непроницаемо, и только в глазах играют лукавые огоньки. Хоть ему и под восемьдесят лет, он не так согнулся, как великан Хохдзу, движения его не совсем утеряли легкость. Пояс Дзулы украшен серебряными бляшками работы кубачинцев. Наверно, этому поясу, бляшкам столько же лет, сколько самому Дзule, а может быть, и больше, — такие вещи передаются по наследству. На голове старика сидит белая шляпа с задиристо поднятыми широкими полями: кажется, что поля ее приподняли закрученные кверху белые и все еще густые усы.

— Двадцатипятилетним юношей выйдет Чебо? — чтобы громко не рассмеяться, проговорил Саукудз Тонаев. — Чего только не придумает тёперешний народ! Двадцатипятилетним!

— А как же! Внуки решили приобрести для Чебо хорошего скакуна, папаху, газури, кинжал... Словом, то, что необходимо иметь двадцатипятилетнему жениху.

— О, всесильный бог!..

— Только вот не знают, из домотканого сукна шить ему черкеску или купить в магазине. Возможно, приобретут и такую, и такую.

— Чудеса земные!

— Послушай, Хохдзу, ты все жалуешься на свою старость. Почему бы тебе не поехать к этим врачам?

Глаза Дзулы из-под белых бровей хитро посмотрели на собеседника. Хохдзу совсем невдомек, что над ним шутят. Подумав, он спросил:

— Ты же ездил в эту больницу? Почему сам не 'омолодился? Конечно, ты мне не ровесник; но и не ребенок...

Дзула поднял плечи, развел руками: он с молодости сохранил такую привычку.

— Откуда я знаю? Врачей упрашивал даже Ахтемыр — он ведь тоже лечит зубы. Все равно не приняли. Мы, говорят, принимаем лишь тех, кому за восемьдесят перевалило. Как только мне стукнет восемьдесят лет, на второй же день поеду в больницу лечиться.

Старый Хохдзу на минуту вдруг задремал и, наверно, забыл, о чем идет разговор. Немного погодя спросил:

— Ты все время говоришь: лечиться, лечиться. А от каких болезней там лечат?

— От старости, почтенный друг. Что может быть тяжелее старости? Хотя с появлением таких больниц и от нее не так уж трудно избавиться. Верно?

— Да, — ответил Хохдзу и погрузился в свои мысли. Больше он уже не обращал внимания на разговоры вокруг.

Отсветы заката на далеких вершинах гор поблекли, сумерки окутывали аул. Из ущелья заметнее потянуло сыростью, холодком. В домах засветились ранние огни. Внизу на шоссе мелькнули два золотистых усика: это какая-то машина шла в город.

Старики вдоволь посмеялись и стали расходиться.

— Укатал всех нас Дзула, — сказал Саукудз Тонаев.

Отправился к своему двору и Дзула. Оттого, что он все время сдерживал себя, чтобы не рассмеяться открыто, у него заболели лицевые мускулы. Он знал, о чём задумался Хохдзу, и в душе даже пожалел его. Растревожился старик. Ну да ведь это же была шутка.

* * *

В этот вечер Хохдзу поужинал с аппетитом. Все в доме заметили его хорошее настроение. Правнука Таймураза он потрепал по плечу, ласково осведомился:

— Ну, как наш мальчик?

В семье у Хохдзу все дети, их потомки были только мужского пола. И все же Таймураз понял, о ком спрашивает старик — о своем внуке Кудайнате, отце Таймураза. С поля позавчера Кудайнат вернулся с головной болью и вот уже два дня, как лежит в постели.

— Лучше стало. Сегодня даже на работу хотел пойти, еле удержали.

— Правильно сделали. Надо беречь

здоровье. Сам-то я никогда не хворал, но на своем веку видел много больных. Болеть — тяжело, а тяжесть даже деревья ломает. Крепки мои потомки, однако надо опасаться недугов. Слава богу, что мальчику стало лучше.

Хохдзу поднялся со стула, опираясь на палку, направился к кровати.

«Если бы полечился в той больнице, — подумал он, — то палку бы выбросил».

Невестка помогла ему раздеться. Сколько у него сыновей, столько и невесток. Внимательнее всех к нему мать Таймураза — аульская учительница. С утра и до вечера она занята то в школе, то по дому, очень устает, и все же находит силы и время для ухода за стариком.

Хохдзу лег, но уснуть не может. Голова наполнена радостными мыслями.

Перед его взором то встают картины тяжелого прошлого, то возникают светлые мысли о будущем. Вот идет уборка пшеницы. Острозубым серпом ловко орудует здоровенный, мускулистый парень. Это он сам, Хохдзу. За движениями его больших, сильных рук трудно уследить. Рядом с ним живет младшая сестра Зарада. (Если бы она дожила до восьмидесяти лет, ее тоже послали бы в больницу для престарелых, и сейчас она вновь стала бы молоденькой.) Быстро работает и девушка, но куда ей угнаться за братом, тем более за таким богатырем, как Хохдзу! С другой стороны аккуратно, стараясь не потерять ни одного колоска, убирает пшеницу их отец — Дзантемир. Давным-давно, когда кровь, подоб-

ная горной бурлящей реке, играла в его жилах, отец тоже был сильным, здоровым, как Хохдзу, споро, умело справлялся с косой и серпом. Но годы проходят, и каждый из них накладывает тяжесть, подобную пуду свинца. Если таких пудов уже семьдесят, то разве под их тяжестью можно сохранить легкость движений? Это теперь по себе судит Хохдзу. Более ста пудов свинца обрушилось на него, и он уже не может двигаться, как в былые годы. Все же, слава богу, хорошее настало время, если в самом деле открылась больница для престарелых. Пусть врачи даже не за три, а за шесть месяцев сделают его молодым. А то можно и за год.

...В тот далекий день, когда зашло солнце, Хохдзу бросил жать пшеницу. После работы девушки обычно собирались вместе, парни тоже вместе, и каждая группа в отдельности шла купаться на речку. Старики отправлялись домой отдыхать.

В маленьком горном ауле сразу в нескольких местах заиграли гармони, полились задушевные песни. Парни переходили от одной кучки молодежи, где лилась музыка, к другой, вступали в танцы, стараясь блеснуть уменьем, и каждый с девушкой, соседом держался с достоинством, обходительно, чтобы не заслужить слова хулы. Кто в этом отличался, такого считали лучшим юношем. Бедно жили, а о чести своей заботились.

А как пели, плясали! Казалось, даже горы, бурная река любовались ими. Какие были джигиты! Среди первых считался и

Хохдзу. Ничего, кроме этих развлечений, не было у тогдашней молодежи. Чем она могла проявить свое мужество, умение? Какие перед ней открывались дороги? Это сейчас не только парень, но и девушка может стать и агрономом, и инженером, и летчиком, и ученым-звездочетом...

И вот если он, Хохдзу, попадет в больницу, то еще увидит прекрасную жизнь, которая ожидает будущее поколение. Долго кряхтел стариk на своей кровати, переворачивался с боку на бок и все думал, думал.

Открылась дверь, и с карманным фонариком вошел Таймураз.

— Дедушка, ты нездоров? Все время кряхтишь, разговариваешь сам с собой. Чего не спиши? Скоро утро.

У Хохдзу было более ста потомков, но больше всех он любил Таймураза. Парень пошел в мать, он такой же отзывчивый, не любит хитрить, заботится о стариках. Поэтому Хохдзу всегда открывает ему свое сердце.

— Таму, — сказал он, — было бы хорошо, если бы ты отвез меня в больницу для престарелых. Я бы тогда еще пожил немногого и понаслаждался бы, глядя на вашу счастливую жизнь.

Таймураз присел на его кровать, тревожно спросил:

— У тебя что-нибудь болит?

— Болеть ничего не болит. Но разве старость это не болезнь? Да еще такая, какой никому не удалось избежать. Теперь нашли средство делать людей моложе, и я бы хотел его попробовать.

«Что-то с дедом случилось на старости лет, — с той же тревогой подумал Таймураз. — Кажется, стал заговариваться».

Он ласково погладил сухую, жилистую руку Хохдзу.

— Что-то я не пойму тебя, дедушка. О какой это больнице ты говоришь?

— Значит, ты ничего о ней не знаешь? — вопросом ответил Хохдзу. — Слушай. В городе открыли новую больницу, в ней омоляжают престарелых.

«Кто-то обманул старика, — мелькнуло у Таймураза. — Принудил признаться, что ему хочется жить».

Горец никогда не должен показывать, что он дорожит жизнью, это недостойно воина. Наоборот, он должен выказывать презрение к мукам смерти: так всегда поступали предки. Что же должны были наговорить Хохдзу, раз он отступил от этого веками освященного обычая?

— И я, Таму, не слышал об этой больнице. А вот Дзула уже побывал в ней.

Таймураз начал догадываться.

— Ну и что?

— Упрашивал, чтобы его полечили. Не приняли.

— Почему же?

— Молод. Не хватает нескольких лет. В больницу берут лишь тех, кому за восемьдесят. А ему всего семьдесят с чем-то.

В комнате было темно, рассвет только-только начал пробиваться в окно, и старик не увидел улыбки правнука. Таймуразу все стало ясно. Вон, значит, в чем дело! Старый Дзула придумал новую шутку. Стa-

рики собираются на нихасе и коротают время, как могут. Невольно позавидуешь им. В молодости самоотверженно сражались с врагами, месяцами пропадали в горах с отарами овец, спасаясь одной буркой от непогоды, проливали пот на тощих, каменистых пашнях. Сколько же сейчас в них бодрости, силы, раз и в такие годы могут шутить, смеяться?! Долго живут люди на Кавказе. Богатыри.

— Значит, тебе, дедушка, хочется помолодеть? — спросил он.

— Да не обидится на меня бог, давший мне и без того долгую жизнь! Не к лицу в моем возрасте просить о продлении жизни. Но я тебе скажу, Таму, почему мне это хочется. Когда я был полон сил, у меня не было возможности выйти вперед. Сам знаешь, как бедно жили горные осетины. А теперь создали все условия — у меня ж нет сил. Не обидно? Вот мне и хочется наверстать потерянное. Ты меня понял, Таму?

К этому времени Таймураз уже принял решение. Это даже хорошо, что старику захотелось в город. Таймуразу тоже надо туда. Он подготовил к защите диссертацию и передал ее профессору, у которого учился: теперь нужно узнать его мнение. Дед же немного развлечется в дороге. Притом за последнее время стариk стал жаловаться на зрение: не мешает показать его глазнику.

— Где мы в старину могли проявить свою силу? — продолжал Хохдзу. — Сейчас же людям даны условия не только прославиться храбростью, а и трудом. Сам ты читал мне в газете, сколько у нас героев. Вспомни Иссса

Плиева. Великий джигит. Как храбро сражался с Гитлером! Или возьми хумалагского колхозника Харитона Албегова: награжден Золотой Звездой. Когда-то наши предки говорили: «Дай бог, чтобы у нас всегда были настоящие мужчины». Теперь у осетин много настоящих мужчин, известных всей России. Они везде стоят в ряду с лучшими. Посмотри, сколько видных людей только в нашей фамилии. Один — директор большого завода, другой — генерал, два полковника, шесть учителей...

— Хорошее у тебя потомство, дедушка, — мягко вставил Таймураз. — Ложись спать и не беспокойся. Завтра же отвезу тебя в город.

Поднявшееся из-за гор солнце осветило аул, лепящиеся по уступам сады, дом Хохдзу, расположенный на краю скалы, кручу тропинку, ведущую вниз во двор. Во дворе семья держала то, что невозможно было поднять наверх: арбу, плуг, борону, а зимой и сани. Там же находился и гараж для автомашины.

В город собрались после завтрака. Таймураз хотел поддержать деда на крутом спуске от дома во двор. Хохдзу отказался: он не любил прибегать к посторонней помощи. Одет нынче он был по-праздничному: в черкеске из добротного трико, в шапке из темно-бурого каракуля и новые сапоги.

Ожидая, когда правнук заведет «Москвича», Хохдзу смотрел на снежные вершины гор. В детстве он верил, что на горах надеты белые шляпы. Под ледниками чернели голые скалистые массивы. В молодости Хохдзу

охотился на них за турами, сернами: сильные ноги его цепко ступали по камням, легко переносили через пропасти.

А еще ниже расстилались мягкие ровные склоны альпийских пастбищ. Есть ли на свете места краше? Зеленые травы, словно чудесные ковры, вытканы цветами всех оттенков. Там Хохдзу пас хозяйские стада. Тяжела жизнь пастуха, но разве в ней нет радостей? Не беда, что в сумке нет ничего, кроме кукурузного чурека. Когда захочется есть, всегда можно поймать самую молочную козу или овцу и надоить молока, если же в молоко накрошить чурек, то получится шандаг — ешь себе на здоровье да похваливай! Хозяин овцы или козы все равно ничего не узнает: к вечеру вымя вновь раздуется от молока.

А под альпийскими лугами тянутся лесистые горы — ни дать ни взять каракулевые шапки! Что только на них не растет! И бук, достающий макушкой до самых небес, и дуб — красный и серый, и клен, береза, пихта, ель! Полно и плодовых деревьев — хоть и диких, но не уступающих по вкусу домашним: яблони, груши, сливы, алыча, грецкие орехи! Есть и виноград, малинник, ежевика — всего не перечислишь!

Из-за угла сакли показался Дзула: он направлялся на нихас. После того как старики обменялись приветствиями, Дзула спросил:

— Ты одет, как путник. Далеко собрался?
— Так просто. Прогуляться по равнине. Неужели все время жить в горах?
— Конечно, конечно,— сказал Дзула,

и неприметная улыбка вновь заиграла под его седыми нависшими усами.

Новенький, шоколадного цвета «Москвич» осторожно спустился вниз на каменистое шоссе и понесся в город.

Через три часа Хохдзу сидел в глазном кабинете. Доктор — полный блондин, в белой шапочке и халате, проверил ему зрение. Таймураз объяснялся с ним по-русски.

— Что он говорит, Таму? — спросил Хохдзу. — Примут меня?

Правнук с деланным сожалением покачал головой:

— Нет, доктор отказался принять тебя в больницу.

— Почему? — Хохдзу показалось, будто кто-то отнимает у него молодость.

— Возраст не позволяет, — Таймураз с трудом сохранял серьезный вид.

— Как не позволяет? Мне сто двадцать лет без одного года.

— Это, конечно, солидная цифра. Но доктор говорит, что люди стареют неодинаково. Некоторые в пятьдесят лет превращаются в стариков, а другие и в сто двадцать чувствуют себя молодыми.

Хохдзу задумался. До чего ученые эти доктора, все знают!

— Спроси, через сколько лет состарюсь?

Таймураз по-русски спросил у глазника, какие очки подойдут Хохдзу. Деду ответил по-осетински:

— Доктор сказал, что поставит тебя на учет. Через два года опять приедем на проверку. А когда будет надо, они сделают все для твоего омоложения.

Ответ этот пришелся по душе Хохдзу. Что ж, он еще неплохо себя чувствует, проживет и так. И пока Таймураз ходил по своим делам, стариk гордо, с важностью восседал в машине.

Обратно выехали под вечер. Машина, вздымая белую, кремнистую пыль, быстро неслась по широкому шоссе. Слева потянулась шумная, словно кипящая, река, за ней — орешник, дубняк, а еще дальше — горные скалы, поросшие соснами. Сидя на мягком сиденье, Хохдзу размышлял:

«Значит, я еще не такой глубокий стариk? Выходит: не хуже Дзулы. Его обещали положить через три года. Пожалуй, мы с ним вместе начнем лечиться и станем молодыми».

1964

КТО ВИНОВАТ?

В дверь дома постучали. Агубе, лежавший в углу на кровати и до шеи покрытый теплым одеялом, с трудом повернул голову к сыну Хасану.

— Ну-ка, лаппу¹, посмотри, кто там.

Хасан сидел у запущенного снегом окна и возился со старым разобранным будильником. В дверь вторично постучали. Мальчик задвигался, будто хотел встать, однако не встал.

— Я не к тебе обращаюсь, лаппу?

От корыта отозвалась Аза, жена Агубе, месившая тесто:

— Оставь его, он, наверное, занимается.
Я выйду сама.

Она отряхнула с рук муку, открыла дверь и произнесла нараспев:

— Боже мой! Это же учитель Садулла.

¹ Лаппу — мальчик, парень. У осетин отец не называет сына по имени.

Чего же ты стучишься, будто мы чужие.
Заходи.

Услышав имя «Садулла», Хасан вскочил, сконфузился, бросил разобранные часы на подоконник — будильник зазвенел. Хасан схватил его, стараясь зажать звонок, — это ему не удалось.

В комнату вошел невысокий пожилой человек с проседью в волосах. На нем была шуба из овчины с суконным верхом, на ножах облепленные снегом галоши с порванными задниками, из которых выглядывали рыжие, сильно потертые ботинки.

Сощурясь, Садулла своими припухшими глазами покосился на Хасана (мол, знай, что я на тебя сердит). Снял у двери галоши и направился в угол, к постели больного.

— Будь здоров, Агубе! Как твои дела? — И, не дождавшись ответа, продолжал: — Если откровенно говорить, ты гораздо лучше выглядишь, чем в последний раз... когда я тебя видел. Вид совсем другой.

— Спасибо, спасибо, Садулла! Врачи меня опять вырвали из когтей смерти. В руках ученых теперь большая сила. Садись, посиди, если у тебя есть время.

На этот раз Хасан сообразил, что ему делать, и быстро придвинул для учителя кресло к кровати больного отца. Садулла медленно, как это обычно делают врачи, снял шубу и подал ее Хасану, не посмотрев в его сторону. Потом опустился в кресло в ногах Агубе.

Хасан бережно повесил шубу на вешалку и с виноватым видом встал у окна. Он подозревал, зачем учитель опять пожало-

вал к ним в дом: конечно, не с хорошей вестью. Что ж он не начинает? Так уж устроен человек,— ему хочется скорее пережить трудность, которой не миновать.

Но Садулла не из тех, кто торопится. Он, удобно расположившись у постели больного, рассказывал всевозможные сельские новости и часто посматривал в сторону хозяйки, которая пекла пироги. Садулла отлично знает: раз он пришел в дом ученика, его не отпустят без угощения. Поэтому он всегда располагается по-свойски и заводит длинный разговор, ожидая, когда его пригласят к столу.

У него сто пятьдесят два ученика, и если даже он посетит каждый дом всего один раз, то уж вторично попадет в эту семью только через полгода.

Надо отдать Садулле справедливость — он не ко всем заходит. Что за смысл посещать дома, в которых его негостеприимно принимают? Зато к некоторым «приятным» родителям своих учеников он наведывается довольно часто. Здесь, как считает Садулла, его встречают с должным почетом. Именно таков и дом Агубе. Жена хозяина Аза — искусная стряпуха. Никто в селе не умеет гнать такую чистую и крепкую араку, как она. Кроме этого, Садулла очень любит посидеть с Агубе. Хотя Агубе простой, рядовой колхозник и даже не имеет среднего образования, но от природы он наделен умом, сметкой, да и добр, мягкосердечен по характеру.

Пока Садулла и Агубе вели разговор, у хозяйки поспел олибах — пирог с сыром —

и, еще горячий, душистый, оказался на столе возле гостя. Хасану в таких случаях не нужно подсказывать, что делать: он моментально очутился около Садуллы с чайником теплой араки в одной руке и с гладким рогом в другой. Наполнил рог аракой и протянул учителю.

Садулла взглянул на него своими припухшими глазами.

— Подай сначала Агубе, Агубе старше.

— Нет-нет! Садулла, ты извини меня. Я очень слаб. Пей, не стесняйся.

— Ну, тогда хоть закуси. Замечательный олибах, яичница. Не то что больной — мертвец привстанет, увидев такое угощенье. — И Садулла подсел ближе к столу.

||

Четвертый раз осушил Садулла рог, хорошо закусил. Щеки его стали красными, глаза совсем превратились в щелки и словно заплыли. Хасану не терпится узнать, что скажет о нем учитель, но Садулла не торопится, предлагает тост за тостом. Хасану кажется, что тот нарочно издевается над ним. А если вдруг он совсем ничего не скажет? Зачем же тогда пришел?

Очередной рог Садулла выпил за то, чтобы не было войны и молодежь имела возможность спокойно учиться. Тыльной стороной ладони вытер губы, достал из кармана платок и вытер руки.

— Агубе, — заговорил он, сделав паузу. — Знаю, что тебе будет неприятно, но

нельзя скрывать дела, по которому я сюда пришел.

— Бог да избавит нас от неприятностей, — произнес хозяин.

— Если бы те, ради которых сохнет мой мозг, не причиняли мне беспокойства, ничто бы не доставило мне забот, — сказал учитель и посмотрел на Хасана.

Глубоко вздохнул Хасан — наконец дошел Садулла до главного разговора. Мальчик опустил голову и, сделав вид, будто сгорает от стыда, стал переминаться с ноги на ногу.

— Но те, для которых стараюсь, не прислушиваются к моим советам, не задумываются о своем будущем. Я недоволен успеваемостью большинства своих учащихся. Правда, я не обо всех беспокоюсь так, как о Хасане... Но я очень огорчен: не лежит у него душа к математике. Волоком его тащу и, если бы не дружба с вами, бросил бы, к дьяволу. Теперь он уже мужчина, настоящий мужчина, пусть сам о себе думает...

— Лаппу, ты что, спиши? Налей араки, — сказал Агубе, заметив, что учитель поглядывает на чайник.

Продолжая говорить, Садулла, не глядя, принял рог.

— Из девятого класса я с трудом перетащил его в десятый. Думал: ну, может быть, наконец поймет и станет примерно учиться. Но вот прошла первая половина учебного года, а Хасан не изменился. И хоть стыдно было перед людьми, перед своей совестью, а вывел ему тройку. Конечно, только из уважения к вам.

Садулла опять произнес тост — теперь за процветание хозяев. Выпил, передернулся и продолжал, жуя пирог:

— Увидеть вам мою смерть, если не из уважения к вам. Слабых учеников у нас, правда, не мало, но... — Он вдруг обратился к Хасану. — Скажи вот перед своей матерью, перед отцом: кому-нибудь я сделал такое снисхождение в отметке, как тебе?

Хасан поспешил отвернуться к окну, боясь, что не сдержит смеха: учитель многим отстающим ставил удовлетворительную оценку. В школе про Садуллу говорили так: «Арака получается после того, как пары прогоняют через трубку; пятерки же получаются после того, как араку прогоняют через глотку Садуллы».

— Что же ты молчишь?

Хасан не удержался, прыснул, но сделал вид, будто поперхнулся.

Садулле было приятно видеть, что Хасан так стесняется его.

— Вот говорю тебе перед матерью и отцом: больше никаких поблажек. С сегодняшнего дня буду ставить тебе такие оценки, какие заслуживают твои ответы. Я не имею права выдавать аттестат ученику, не имеющему прочных знаний. Понимаешь? Вырастешь, станешь плохо служить. Кто-нибудь спросит: «Кто тебе преподавал математику?» — «Баллаев Садулла». — «Почему же он не дал тебе знаний?» А я тридцать три года непорочно храню звание учителя. Слышишь? Говорю тебе в присутствии родителей, пусть не обижаются на меня: на экзаменах и на волосок не сделаю уступ-

ки... — И украдкой вновь покосился на чайник.

Выпив новый рог, продолжал:

— Если не закончишь десять классов, что из тебя получится? Закроешь себе дверь к дальнейшей учебе. Будешь шляться по улицам... Может быть, и к этому... — Указательным пальцем стукнул он по рогу и отвел глаза. — Никогда не трогай. Нет злее врага у человека, чем арака. Я сам думаю бросить ее... после каникул.

Хасан вновь еле удержался от смеха, почти отвернулся к окну. Много раз слышал он из уст Садуллы, что тот бросит пить. Продушили намеченные сроки, но Садулла по-прежнему тянулся к рогу.

— Вы тоже присматривайте, чтобы занимался, — сказал Садулла хозяевам.

— Что мы можем поделать? — вздохнул Агубе и пошевелился на своей кровати. — Мы люди неграмотные, темные. Сколько есть ума, столько и учим. Говорим ему, чтобы не остался таким же темным, как мы...

— Следите всегда, чтобы сытно ел... молодому организму нужны жиры. Учиться нелегко. А ведь у нас, осетин, как? Стараются все для гос... гос... Гостя тоже, конечно, нужно принимать радушно! Это хороший обычай... Но питанию школьника следует уделять должное внимание, не сажать на похлебку.

— В еде, в одежде он не нуждается, — первый раз обронила слово хозяйка.

— А что тебе еще нужно? — вновь обратился Садулла к Хасану. — Вот при родителях еще раз говорю: не будешь хорошо

учиться, твое дело плохо. В аттестате... И вот это... не вздумай никогда и понюхать... я сам собираюсь бросить. — С этими словами он протянул руку к полному рогу, который держал парень.

Уже стемнело, когда Садулла, поблагодарив хозяев, хотел встать и покачнулся вместе со стулом.

— Лаппу! — крикнул Агубе.

Хасан быстро поставил чайник на стол, подхватил учителя.

Учитель, в меру сил, сам старался крепче держаться на ногах. С грехом пополам Хасан надел на него шубу, галоши: опираясь на руку Хасана, тот вышел.

На улице валил снег. Вокруг электрического фонаря на столбе голубовато-белыми бабочками вились крупные хлопья. Гор совсем не было видно. Садулла сдвинул шапку на затылок, открыв лоб ветру и снегу. Хасан с трудом поддерживал его, когда они спускались со ступенек.

— Слышишь, Хасан, если и на сей раз хорошо не подготовишься, то в аттестате... а к выпивке... и... и... и не принюхивайся!

Парень улыбнулся про себя. Впервые ли он это слышал? Когда придет время экзаменов, то, как бы он ни отвечал, в аттестате будет стоять — как называют ее учителя — «твердая тройка».

III

Во время зимних каникул Садулла еще раз побывал в доме Агубе. Мать увидела учителя в окно, позвала Хасана:

— Лаппу, Садулла к нам идет. Выйди, встреть.

Хасан выскочил на крыльцо. С экзаменом он рассчитался после прошлого прихода Садуллы. А теперь пусть учитель ходит к ним, сколько ему вздумается.

Против обыкновения, вид у Садуллы был скучный и злой. Как только он переступил порог и промолвил: «Мир и благодать этому дому», — то сразу, не ожидая приглашения, стал снимать шубу и галоши.

Пока Садуллаправлялся у давно оправившегося от болезни Агубе о здоровье, стол перед ним был уже накрыт, и на нем красовался теплый хлеб и жаркое. Вновь рядом вырос Хасан, держа в руке знакомый чайник и кривой рог.

Хоть Хасан и не боялся теперь учителя, но держался скромно, Садулла уважал в молодежи это качество.

Садулла завел речь о том, что у человека много врагов. Сколько ни старайся для людей, сколько ни делай добра, все равно ответят черной неблагодарностью, и чем больше пил Садулла, тем становился все скучнее и скучнее.

Произнеся четвертый тост и опустошив очередной рог, Садулла тыльной стороной руки вытер губы и вдруг повесил голову.

— Очень я привык к этому селу и... Да что поделаешь? Нельзя же до скончания века преподавать на одном месте. Тяжело, но пришло время прощаться. Такова наша работа.

Какая-то тревога вселилась в сердце Хасана, в горле вдруг пересохло.

— Что случилось? В другое место взду-
мал переводиться? — спросил гостя Агубе.

— Конечно! Так захотел заврайоно. Где-
то опять нашел слабую школу: взвали, гово-
рит, Садулла, эту ношу на свои опытные
и выносливые плечи. На днях уезжаю, при-
шел попрощаться.

Когда Хасан услышал последние слова
учителя, то чуть не уронил чайник с аракой.
Если Садулла уедет, ему и думать нечего
об аттестате.

Вначале школьники боялись Садуллу.
Боялся и Хасан; тянулся по математике, го-
товил домашние задания. Но постепенно все
узнали о слабости учителя, — что любит вы-
пить и потакает тем детям, в чьем доме по-
лучает угождение. Хасан — парень неустой-
чивый, с ленцой — воспользовался этим и,
когда однажды провалился у доски, но по-
лучил тройку, перестал уделять внимание
математике. Этой весной предстоит держать
выпускные экзамены, а Садулла вдруг ухо-
дит из школы. Сумеет ли Хасан ответить
новому преподавателю, «не срежется» ли на
письменной? В глазах у Хасана зарябило:
«Труд десятилетнего ученья...»

— Вот так-то, — разглагольствовал Са-
дулла. — Работа у нас ответственная. В рай-
оно тоже знают, кого посыпать на укреп-
ление отстающей школы...

На минуту Садулла запнулся. Мог ли он
признаться, как на самом деле обстояло
дело? Вызвав его, заведующий районо су-
рово сказал: «Садулла! Своими выпивками
вы унизили себя и в глазах педколлектива,
и в глазах учащихся. Вы продаете отметки

за араку. Оставаться вам в этом селе больше никак нельзя. Запомните этот горький урок. Мы переводим вас в другую школу, даем время исправиться. В противном случае придется поставить вопрос о вашей непригодности на преподавательской работе вообще...»

— В новой школе буду трудиться в меру моих сил, — продолжал он тише. — Придется поднимать успеваемость учеников... и вообще. Что поделаешь? Но меня вот судьба Хасана беспокоит...

Хасан поднял голову. От притворной скромности у него и следа не осталось. Уставил взгляд через оттаявшее сверху стекло куда-то далеко, на темные, синие горы, и трудно было догадаться, о чем он сейчас думает.

— Лаппу, налей араки! Что ты осталбенел? Учили тебя, а ты не слушался. Кто виноват?

1964

ХЪЫЛМА

Кому не надоест лежать в больнице, когда мороз разрисовал окна и эти затейливые узоры золотыми, голубоватыми огоньками пылают на солнце? Так и хочется выскочить на улицу, хватить глоток-другой чистого, живительного воздуха. В палате-то воздух тяжелый, спертый.

Но что поделаешь! В больницу не от избытка здоровья попадают. Мы все терпели, ничего не попишешь! Жили дружно, рассказывали друг другу разные истории, шутили — и так коротали время. Договорились чаще открывать форточку и даже разрешили Ахсарбеку выкуривать в день три папироски — ему, из-за боли в бедре, нельзя было двигаться.

Однажды утром няничка стала заправлять свободную койку, которая стояла в углу. Мы притихли — интересно, кого туда положат? Появление нового больного всегда является маленьким событием в однообразной жизни палаты.

Ждать нам пришлось недолго. Медсест-

ра открыла белую крашеную дверь и пропустила впереди себя лысого, коренастого мужчину лет пятидесяти, с брюзгливо отвисшей нижней губой. Толстые жилы на руках его напоминали выступающие из земли корни старого дерева. Морщин на узком лбу собралось столько, что и не счесть. Из-под рыжих торчащих бровей смотрели два колючих холодных глаза. Нос у него был широкий, сплюснутый.

— О-о-ох! — застонал вновь прибывший, едва миновав дверь.

Новый больной ни на кого не посмотрел, ни с кем не поздоровался, а прямо направился к своей кровати, уставившись на нее, как жаба, загипнотизированная змеей. Раздевшись, он аккуратно свернулся в кокон, положил на подоконник. Затем осторожно, точно боялся что-нибудь сломать, опустился на койку, отвернулся к стене и опять простонал.

Мы переглянулись. Э-ге-ге! По виду не похоже, чтобы прибывший был сильно болен. Значит, характер такой? До чего же все-таки хорошо нам до сих пор жилось! А вот появился этот новичок, и все изменилось, будто он принес с собой «хъылма» — отправу.

В коридоре, когда играли в шахматы, кто-то из нас так и назвал его — Хъылма. Кличка моментально пристала к нему, словно пиявка к телу.

За полдень стали разносить обед. Хъылма повернулся лицом к палате и стал наблюдать, как больные едят борщ. Когда подали второе, Хъылма протянул свою жи-

листую руку, нажал кнопку и опять закутался в одеяло.

Появилась медсестра.

— Позовите женщину, разносящую обеды,— сказал Хылма тихим и словно бы извиняющимся голосом.

— Зачем она вам? — спросила медсестра. — Нянечка очень занята. Скажите, чего вам надо, может, я могу помочь?

— Вас я и так вижу. Неужели вы думаете, что я не знаю, кто мне нужен? Тогда, если вам не трудно, позовите врача, — вновь тихо, но уже ледяным голосом потребовал Хылма.

Вскоре в палате появилась пожилая, добродушная сестра-хозяйка — любимица всего нашего отделения. Как всегда ласково, она спросила:

— Что вас беспокоит?

— Одного не могу понять: не больной я, что ли? Может, не советский трудящийся?

— Да в чем дело? — удивилась сестра-хозяйка.

Мы тоже все прислушались.

— Почему на моей тумбочке нет обеда?

— Ах, вы вот о чем. Мы не знали, что вас положат, поэтому и не выписали продукты. Да и вообще такие ходячие, как вы, больные, голодными к нам не приходят.

— Голодными они приходят или сытыми — это не ваше дело. Как только больной поступает к вам на лечение, вы обязаны обеспечить его всем, чем положено. Я очень хорошо знаю, что сделало наше дорогое государство и правительство для

охраны здоровья. Так что, будьте добры, выполнить все те обязанности, которые на вас возложены.

— Я вам повторяю: обед приготовлен на известное количество больных. Выходит, мы должны отдать вам чужую порцию и оставить кого-то голодным?

— Я в этих тонкостях не разбираюсь. Я хочу лишь то, что мне положено.

— Поймите...

— Сперва принесите обед, а уж потом я вас выслушаю.

Хъылма решительно отвернулся к стене, давая этим понять, что разговор считает законченным.

Сестра-хозяйка, казалось, не могла прийти в себя от изумления. Наверно, ей никогда не приходилось быть в таком положении. Немного постояв, она ушла.

Палата невольно притихла.

Минут пять спустя нянеchnка принесла поднос и поставила на тумбочку Хъылма борщ, котлеты, компот и хлеб. Откуда сестра-хозяйка выкроила для него обед, мы так и не узнали.

Теперь-то уж он успокоится — решили мы. Хъылма сел в постели, долго мешал ложкой борщ, потом бросил ложку и опять нажал кнопку. Когда вошла няня, он с той же нудной вежливостью попросил:

— Извините. Если вам не трудно, позвоните повара.

Вскоре появился мужчина в белом халате.

— Вы повар?

— Слушаю вас.

Хъылма помешал ложкой в тарелке, спросил:

— Что это, по-вашему?

— По-нашему? Борщ.

— Правильно: по-вашему — борщ. А по-нашему — помои.

— Зачем так говоришь, хороший человек? — возмутился повар. — Тут мясо варилось. Капуста варилась. Картошка варилась. Морковь. Все, что положено для борща. Вон жир — разве не видишь?

Хъылма и слушать не хотел.

— Наше родное правительство заботится о скорейшем выздоровлении всех больных тружеников. Оно отпускает для этого свежее мясо, масло, жир, овощи... а вы больным помои даете. Вас пригласили на эту почетную работу продукты портить?

— Хороший человек, вы, наверно, привнесли с собой в больницу весь домашний запас упреков и замечаний?

— Замечания я с собой не приносил, а вот критику своих недостатков вы воспринимаете не так, как следовало бы.

Красное лицо повара теперь напоминало освещенную огнем кастрюлю.

— Хочешь — обижайся, а другого у нас ничего нет. Нравится — кушай, нет — можем принести книгу жалоб, позвать главврача.

И повар сердито вышел из палаты, не закрыв дверь.

Хъылма долго еще что-то бормотал, возмущался. Подсел к тумбочке и так вытянулся шею к тарелке, что до предела натянулись жилы — вот-вот лопнут. Взял ложку,

стал громко хлебать, чавкать; все уставились на него.

Обедали мы всегда с аппетитом, а тут не почувствовали вкуса компота, будто кто в него отраву положил. Шутки в палате исчезли.

Поев, Хъылма вытянулся было под одеялом, да вдруг перегнулся и уставился под дальнюю кровать. Протянул руку, нажал кнопку.

Появилась медсестра.

— Что бы во-о-он то было? — показал он под дальнюю кровать.

— Где? — наклонилась медсестра.

— Во-он оно белеет!

— Теперь вижу. Кусочек ватки.

— Интересно, там его место?

— Видимо, кто-нибудь обронил. Сейчас подниму.

— А почему вы не подняли раньше? Наше родное правительство для того вам деньги платит, чтобы вы работали спустя рукава? Была бы хоть еще работа тяжелая! Ведь вы же не стоите у сталелитейной печи? Не жнете серпами пшеницу?

Хъылма говорил таким тоном, будто сам был горновым или, по крайней мере, знаменитым хлеборобом.

Когда медсестра вышла, неся в двух пальцах злополучный кусочек ваты, в палате воцарилось гробовое молчание. Время вдруг стало тянуться мучительно долго. Мой сосед по койке сердито прошептал:

— Вот уж действительно — хъылма. Не человек — отрава. Тут и у святого терпение лопнет.

Послеобеденная дремота охватила палату, разговоры стихли. Внезапно Хъылма снова потянулся к кнопке звонка. Опять что-то увидел? На кого же он теперь направит свои упреки, замечания?

Медсестра остановилась возле его кровати с терпеливым страданием на юном розовом лице.

— Сходи-ка, мое солнышко, позови кого-нибудь из врачей.

В палате долго никто не показывался. Хъылма вторично, зло нажал кнопку. Как раз в это время вошел врач.

— Что вас беспокоит, больной?

— Работа ваша беспокоит, доктор, работа! Правительство вас для того учило, чтобы вы так относились к своим обязанностям?

Черные брови врача сдвинулись.

— Что вам не нравится?

— Вы ни в грош не ставите трудящегося. Сколько я уже лежу, и никто еще меня не осмотрел.

— Вас осмотрели в приемном покое. Диагноз известен — грыжа. Подготовим и сделаем операцию.

— А что с вами случится, если вы лишний раз осмотрите больного? Вселите в его душу надежду. Может, у меня какие изменения?!

Доктор нехотя откинул одеяло Хъылма, стал осматривать.

Вновь потянулись тяжелые, как свинец, минуты. Наконец наступила ночь, и мы заснули.

Утром, едва открыв свои колючие глаза,

Хылма подозрительно осмотрел палату, раза два втянул приплюснутыми ноздрями воздух и нажал кнопку. К нему тут же подошли.

— Если вам не трудно, попросите сюда старшую медсестру.

Появилась старшая медсестра. Видимо, она уже знала, что за пациент появился в нашей палате, потому что губы ее были сухо поджаты.

— Скажите, пожалуйста, что это в воздухе плавает?

Вошедшая сразу заметила легкие голубые волокна под потолком.

— А вы разве не видите? Дым от папиросы.

— Интересно, это что: курительная комната или больница для трудящихся?

— Это курит Ахсарбек. Он не может ходить.

— Если даже он неходячий, то должен понимать, что в палате курить нельзя.

— Ему разрешили товарищи. В таких случаях обычно сами договариваются.

— А зачем будут договариваться больные, если в лечебнице существуют свои порядки, которые обязаны выполнять все без исключения. Вы же должны за этим следить. Вы же получаете зарплату от нашего любимого государства.

— Тыфу ты! — не выдержал мой сосед. — Да неужели вы не видите, что Ахсарбек не может двигаться? Его мучат боли, мы ему и разрешили три папироски в день.

— Я не с вами разговариваю, — уставился Хылма на него жабыми глазами. —

Я не переношу папиросного дыма. У меня голова начинает раскалываться.

И он вдруг, обмотав голову полотенцем, так начал охать, стонать, что сосед мой в сердцах только рукой махнул.

День ото дня Хъылма надоедал нам все больше и больше. Мы все потихоньку стали просить врача поскорее сделать ему операцию и выписать домой. Очевидно, и медперсонал был так настроен.

Операция прошла благополучно. С Хъылмой сняли швы, он стал с довольным видом прогуливаться по палате, коридору. В конце недели врач заявил ему:

— Завтра утром я вас выпишу. В больничном режиме вы уже больше не нуждаетесь. Поправитесь дома.

В глазах Хъылма мелькнуло беспокойство.

— Не выпишите, мое солнышко, — самонадеянно сказал он. — Не выпишите. Я еще нездоров, и вы не имеете права отказать мне в лечении. Такого правила нигде нет. Наше государство для этого строит светлые больницы, чтобы мы до конца и основательно в них поправлялись.

Врач улыбнулся и вышел. Неужели спасовал?

Завтрак следующего дня прошел как обычно. Обед же Хъылма не принесли. Он нервно нажал на кнопку.

— Скажите на милость, — высокомерно обратился он к няне. — Вы что, забыли обо мне? Почему суп не даете?

— Не положено. Вас выписали.

— Интересно, вы всегда так издеваетесь

над трудящимися? Или только меня выбрали?

— Для меня вы все равны. Как велели, так и делаю.

— Ну это мы еще посмотрим.

Разгневанный Хылма вышел из палаты и пропадал с полчаса. Вернулся сумрачный, лег лицом к стене. Почти тут же за ним показалась старшая медсестра, тронула его за плечо.

— Освободите место, его ждет другой больной.

Понял Хылма, что уже другого выхода у него нет. Встал, начал собирать вещи: мыльницу, зубную щетку, бритву, — бормоча под сплюснутый нос:

— Хорошо, дорогие, хорошо. Я сообщу родному правительству о том, какую заботу вы проявляете о трудящихся.

Вышел он, ни на кого не глядя. В дверях столкнулся с новым больным — приземистым мужчиной средних лет.

— А-а-а, Хылма! А ты что здесь делаешь? — весело спросил тот.

Что ответил наш «грыжник», мы не слышали: дверь со стуком захлопнулась за ним.

Новый больной весело поздоровался со всеми, спросил:

— Ну как вам тут жилось с Хылма?

Вся палата оторопело уставилась на новенького. Мой сосед, запинаясь, спросил его:

— Откуда вы узнали... что мы его прозвали Хылма?

Тот от души расхохотался:

— Так и у нас ему дали такую же клич-

ку! Хъылма везде есть хъылма. Клянусь Казбеком, что его и здесь никто не посещал из родни. Наверно, и дома всем надоели...

— Скажите, — спросил мой сосед. — Не знаете, кто он по профессии?

— Как не знать? Торгует газированной водой. И, скажу вам, не плохой домик построил себе... на сладком сиропе. Но я и в самую сильную жару не подхожу к его тележке. Мне кажется, что и напиток его пахнет отравой.

1964

ТЕНЬ

Габил Сауов — маленький человечек. Всмотритесь в него пристальнее, и вы убедитесь, что на его лице так и написано, что он лукав, хитер и бесчестен. Стоит вам взглянуть на его усы, похожие на стрелки, на острую бородку — и спрятанный между ними маленький рот тотчас откроется, расплывется в подхалимской улыбочке, и Габил, жеманничая, как девушка, потупив взор, скажет:

— Да! Ты, как всегда, говоришь правду! Клянусь моим Кораном, лучше тебя не встречал человека на нашей земле!

Смех никогда не рождался в сердце Габила, и сердце его никогда не смеялось, но с тонких губ не сползает улыбочка, а маленькие серые острые глазки всегда блестят и готовы вместе с вами смеяться, если вы смеетесь, и плакать — если вы плачете.

Сейчас Габил идет из бригады. Идет не торопясь. Рядом с ним ползет его тень.

Габилу хочется с кем-нибудь поговорить по душам. Но с кем? Кому может доверить Габил свои мыслишки? И он доверяет их...

— А-а, привет, мой друг! — обращается он к своей тени. — За мной идешь? Не нравится? Злишься? А ты попробуй-ка, не пойди! Надоело, говоришь, за мной таскаться повсюду? Трудно? Ну, что же! И мне было нелегко... Что поделаешь? Терпи, голубушка, терпи! Ты на всю жизнь со мной связана. Гляди: поднял я руку — и ты подняла. Я нагибаюсь — и ты сгибаешься в три погибели. Я склонил голову — и ты склоняешь ее... Видишь? Кто над тобой хозяин? Я! Ну и выполняй мою волю! Что ты сказала? Самолюбие? Забудь, голубушка, о самолюбии! Забудь, как и я забыл! Ты знаешь? Мне, пожалуй, еще труднее, чем тебе, приходилось. Ты вот за мной ползешь и все, что я делаю, повторяешь. Что ж, повторяй! Ты не ошибешься! А я часто ошибался. Понимаешь? Ошибался! Когда-то, давно это было, правда, служил я у одного полковника — по фамилии Лабунец. Был я... ну, словом, я был его тенью. Был слугой, денщиком и старался ему служить верою и правдой; старался, чтоб полковник всегда мною был доволен. А как же иначе? Тут уж ничего не поделаешь!

И вот однажды приходит мой полковник домой и спрашивает:

— Гаврил Хамицович (чувствуешь, как ценил меня полковник? Гаврилом Хамизовичем называл!)... Гаврил Хамицович, говорит, какого ты мнения насчет Лизаветы Петровны?

А я-то знал, что он эту самую Лизу до потери сознания любит. Ну, как я мог сказать ему о ней что-либо плохое?

— Клянусь моим Кораном, — отвечаю, — такой великолепной женщины еще на земле не бывало!

— Ну и дурак! — кричит мой полковник. — Дурак и ни черта ты не понимаешь!

— Так точно, — повторяю, — я дурак, ваше высокоблагородие, и ни черта вовсе не понимаю.

Ты-то, тень, знаешь, что я не дурак, но разве я мог перечить полковнику? Прогони он меня в шею, что бы я стал тогда делать?

— Она — бессовестная, скверная женщина! — зло кричит полковник.

— Так точно, ваше высокоблагородие, — уже было начал я — ведь я всегда соглашался со всеми его рассуждениями, даже мыслями; но в этот раз мне почему-то вдруг пришло в голову, что он не искренне ругает Лизавету Петровну; может быть, он хочет узнать о ней мое мнение?

— Никак нет, — отвечаю, — ваше высокоблагородие, — Лизавета Петровна отменная и весьма достойная женщина.

— Негодяй! Дурак! Хам! Ни черта не понимаешь!

— Так точно, ваше высокоблагородие, я негодяй, дурак, хам и опять-таки ни черта не понимаю! Но вы поверьте, насчет Лизаветы Петровны я вам сказал от чистого сердца.

— Осел! Запомни: она — подлюга.

— Никак нет, ваше высокоблагородие, — продолжаю я упираться, — вовсе не подлюга Лизавета Петровна.

— Как не подлюга, мерзавец? Я было к ней едва прикоснулся, а она мне влепила пощечину!

Тут только понял я, дружище, что на этот раз влип. Нужно было бы мне повторять за полковником, что она — подлюга, а я-то, осел, утверждал, что она великолепная женщина, чистейшей души! Кто его знал, полковника, что он на самом деле о Лизе думал? А это надо знать, дружище, всегда нужно знать, и никогда нельзя ошибаться. Понимаешь? Хи-хи! Никогда нельзя ошибаться! Ошибешься — и сам не рад будешь. А я ошибся в тот раз, как ошибся, и каких я нажил себе неприятностей! Ох, дурак, дурак ты, Габил! Конечно, дурак! Полковник чуть было не содрал с меня шкуру. «Ну, что ж, — думаю, — придется тебе, Габил, исправлять ошибку». Другой бы не посмел и слова сказать, но я, ты ведь знаешь, я — толстокожий.

— Простите, говорю, ваше высокоблагородие, я так выразился насчет вашей Лизаветы Петровны, потому что знаю — что вы ее любите...

— Я ее, балда этакая, никогда не любил, я таких, как она, никогда и любить не стану!..

— Эх, ваше высокоблагородие, я и не сомневался ни на минуту, что вы ее вовсе не любите; вы хотите ее взять в любовницы...

— Идиот! В любовницы? К черту таких любовниц!

Ну, вижу, совсем разъярен мой полковник. А когда хозяин серчает, подчиненный

должен съежиться, стать незаметным, как мышь.

— Само собой разумеется, — говорю, — ваше высокоблагородие, к черту таких любовниц! — (А дальше — что? Завидую тебе! Тебе-то вот не приходится попадать в такой переплет! Идешь и повторяешь все за хозяином... Нет у тебя забот!)

Но тут, понимаешь, помог мне мой ум. Что, думаешь, я сказал полковнику? Ты бы в жизнь не придумала такого ответа, а я придумал!

— Простите, — говорю, — ваше высокоблагородие, мне только испытать хотелось, любите вы в действительности Лизавету Петровну или же совсем наоборот. Если вы любите, то не стоит ее порочить. Но если вы ее терпеть не можете, то, уверяю вас, что все, что о ней вы лично думаете — я также думаю (ты сам понимаешь, раз хозяин стоит со мной рядом, у меня не может быть собственного мнения!), и я вместе с вами уверен, что она самая скверная, самая бессовестная женщина из тех, что мне встречались на свете! Мне самому, — говорю, — на нее даже смотреть противно!

— Молодец! — похвалил меня полковник (вот точно так и сказал: «Молодец!»). — Молодец, Гаврил Хамицович, такой правды в глаза я от тебя еще ни разу не слышал. Иди, — говорит, — отдыхай, ты мне больше не нужен.

Я ушел, дверку притворил, а сам подглядываю через замочную скважину. Полковник-то мой, что, ты думаешь, делает? Плачет! Сам с собой разговаривает.

— Я, — говорит, — покончу с собой! Или я женюсь на ней, или мне жизнь не мила! Не могу я прожить без ее черных глаз, без ее пушистых волос, без ее белой шейки, без ее тонкой талии...

Вот и попробуй тут во всем разобраться и во всем к своему хозяину приспособиться! Скажешь в цвет — он тобой доволен! А не в масть ляпнешь — плохи будут твои дела!

Так я со многими хозяевами жил, и все меня очень ценили. Запомни, дружище, что хозяева обращались ко мне не иначе, как «Гаврил Хамицович». Вот так они меня уважали! И так я привык хозяевам угоджать, что без хозяина дня прожить не могу. Все равно какой, пусть будет самый ледащий, лишь бы был хозяин! Клянусь тебе моим Кораном, у того полковника ума в голове было меньше, чем у меня в левой пятке! Но разве дело в уме? Возьми председателя нашего колхоза. Клянусь моим Кораном, он в тысячу раз умнее полковника! А я его терпеть не могу! Но раз он мне хозяин, я должен ему быть приятен. Если бы он не был председателем, я бы ему и двух слов не сказал. Но он — мой хозяин, хотя, клянусь, он на хозяина вовсе не похож. На собрании ему все перечат, все его критируют. Их бы кнутом за это, а он выходит из-за стола и говорит совершенно спокойно:

— Товарищи правильно говорят, действительно, у нас есть недостатки, их нужно изжить...

Чудак какой! Как же так правильно, когда против тебя выступают? Попробуй кто моему полковнику, бывало, сказать, что он

не прав, он бы показал, с чем правду едят, с чем — неправду!

Ты как думаешь, дружище? Раз ты — моя тень, выполняй мою волю! Я — тень своего хозяина, я должен выполнять его волю... Так я жизнь понимаю!

Как раз в эту минуту разглагольствования Габила прервал чей-то голос:

— Добрый день, Габил!

Еще не оглянувшись, Габил надел подхалимскую улыбку и тотчас ответил, склонив набок головку:

— Спасибо, дорогой! Большое спасибо!

— А с кем ты, Габил, разговаривал? — спросил Сандыр, председатель колхоза. (Это был он, долго шедший за Габилом следом.)

— Да сам с собой, Сандыр! Тебя все хвалил! Клянусь моим Кораном, я не могу молчать! Ведь такого человека, как ты, я не встречал еще на нашей земле!

— Хвалил? А мне показалось совсем другое... И что ты там, Габил, разглагольствовал о хозяевах да о тенях? Нам, знаешь, тени больше не нужны. Нам нужны настоящие люди, а вовсе не тени...

И Сандыр пошел дальше.

— Да что ты? Что ты, Сандыр, дорогой? Да разве я сказал что-нибудь о тебе плохое? Да разве я посмел бы? Да разве я?.. Ах, как нехорошо!!!

Габил весь съежился, поджал коленки и мелкою рысцою побежал за Сандыром.

ГОСТИ

Тасо Тохов осторожно, кончиком кисти, тронул полотно, натянутое на подрамник, отступил на несколько шагов от мольберта и любовно, оценивающим взглядом окинул мазок, сделанный на недописанной картине. В это время со двора кто-то постучал: Тасо вздрогнул. Так сильно иногда поздней ночью стучат в селе в ворота. Кто бы это мог быть?

Положив палитру на стол, Тасо вышел в коридор, открыл английский замок. У двери стоял краснолицый, седоусый старик с острой бородкой. В одной руке он держал гладкую от долгого употребления палку с набалдашником, в другой — сумку. Старик был в поношенной серой черкеске нараспашку, в засаленном зеленом сатиновом бешмете, синих суконных штанах и новых сапогах.

— Извините, друг, мне нужен Тохов Тасо, — сказал пришелец. Он внимательно маленькими глазками впился в лицо хозяина и вдруг радостно воскликнул: — Это же, на-

верное, ты сам! Как я тебя не узнал!.. А-а-а, сукин сын, даже слишком быстро я тебя узнал! Сколько лет, сколько зим не видались!

Выпалив эти слова, гость положил на ступеньки палку, сумку и обнял Тасо. Видя, что тот его не узнает, старик раскинул руки, изобразил на коричневом загорелом лице изумление:

— Не помнишь меня? Вай, как же так? Хотя откуда ты должен помнить? Сколько лет!.. Я Далуаев Пупуш... Мы же с тобой родственники. Мой дед Боца и твоя бабушка Госка, царство им небесное, были двоюродные брат и сестра. Наши предки жили душа в душу.

Пупуш говорил без передышки. Теперь Тасо вспомнил его. В детстве мать не раз рассказывала ему о скупости, хитрости Пупуша, да и маленький Тасо сам о них знал. Вот о родственных связях между своей семьей и семьей Далуаевых он слышал впервые.

По осетинскому обычаю старику надо было пригласить в дом. Тасо сказал:

— Добро пожаловать, Пупуш.

— Клянусь богом, если бы ты даже выгонял меня, все равно бы зашел. — Пупуш взял палку, сумку и начал подниматься по лестнице. — Лучшего ночлега мне нигде не сыскать. Свой же ты человек.

Идя по ковровой дорожке впереди Тасо, Пупуш удивленно оглядывался по сторонам. Такие дорогие вещи не в каждом доме имеются: большое зеркало, бархатные шторы, мягкий ковер...

— Это твоя квартира, Тасо?

— Моя.

— Будь здоров! Свою саклю сменил на сказочный дворец. Не зря тебя хвалят и люди, и газеты... Молодец, ей-богу, молодец!

Тасо взял у гостя сумку, палку, положил в угол. Усадил его в мастерской за столик у окна, поставил перед ним выпивку, закуску. «Пей, ешь, а я немного поработаю». Когда к Тасо приходит сосед, старик Салам, художник и его так же угощает.

Взяв палитру, Тасо вновь углубился в работу. Не сидел без дела и Пупуш: выпивал, закусывал и то и дело посматривал, как Тасо действовал кистью.

— Когда ты еще был младенцем, я уже предвидел, что из тебя получится хороший человек. Бывало, идешь ты в школу босиком, с книгами под мышкой, а я говорю людям: «Не оценивайте мальца по плохой одежке. Вырастет — прославит наше село».

Чем больше пил Пупуш, тем больше развязывался его язык. Очень отвлекал он своей болтовней Тасо, но как сказать гостю — не мешай? Обидишь.

— А когда ты приезжал из Ленинграда? Зрелый был уже человек, зрелый... И тогда с этими красками возился. Твоя мать-вдова не в силах была помочь тебе, я знаю. Ты испытывал нужду. Мы, родственники, должны были окружить тебя вниманием. Но разве мы тогда отзовались? Никто и пяти копеек не сунул тебе в карман. Человек должен признавать свои недостатки.

Пупуш прикладывался к араке, крякал и вновь заводил разговор. Тасо делал вид,

будто внимательно его слушает: то качнет головой, то вставит словцо. Как ему мешает этот фонтан старческой болтовни! Художник чувствовал, что и мазки не так кладет, нервничал. Мучился, но стеснялся гостю сказать: «Не мешай».

— По-прежнему занимаешься малеванием? — продолжал расспросы Пупуш.

— Это моя работа.

— Молодец, ей-богу, молодец. Это все же лучше, чем бездельничать. Наш меньшой мальчик тоже здорово малюет. Правду надо сказать, таких больших картин у него не бывает, но не хуже тебя может красками, не хуже, а ему всего двенадцать лет... Но из него такой знаменитый человек не получится! Как думаешь?

Рассеянно выглянув в окно, Тасо увидел идущего по тротуару соседа Салама. Вот кто его может спасти. Пусть посидит, займет гостя: разве старикам нечего рассказать друг другу? Тасо так и сделал. Десять минут спустя степенный, гладко выбритый Салам рассказывал новому знакомому, как он работал счетоводом, ушел на пенсию. Тасо купил для гостей у торговки на углу килограмм винограду, поставил новый графин араки.

Однако настроение у него все равно испортилось. Он уже не мог сосредоточиться, невольно прислушивался к разговору за столом.

Какая досада! Чтобы спокойнее закончить картину, Тасо на днях отправил на курорт свою жену Надинку, не отвечал на телефонные звонки. Называлась картина

«Гости». Из города в село к знатному колхознику на «Победе» приехали гости. Начались танцы, веселье, скачки... Надо хорошо отразить народную радость, а некоторые фигуры получались деревянными.

Когда старики выпили за здоровье художника, Пупуш шепотом спросил у Салама:

- А где работает Тасо?
- Здесь, у себя дома.
- Что у него за работа?
- Не видишь, что ли? Картины рисует.
- И только этой работой он так прославился?
- Чем плоха работа? Есть в ней и почет, и прибыль.
- Какая же может быть от нее польза?
- Вот за ту работу, которую он сейчас выполняет, ему заплатят пять тысяч рублей.
- Что?! — воскликнул Пупуш. — У кого есть такие лишние деньги?
- Это не лишние деньги. Просто картина имеет такую высокую цену.
- За эту картину заплатят такие бешеные деньги? Наш младший мальчик малют не хуже, значит, и наш дом может переполниться деньгами?

Тасо размахнулся, хотел швырнуть кисть прямо в полотно, однако сдержался. Положил палитру на стол, вытер тряпкой руки и сел со стариками.

Вскоре Салам поднялся: его невестка уходила на службу и старику надо было сидеть с внучкой. Когда за ним закрылась дверь, Пупуш повернулся к Тасо.

— Разговоры отвлекли меня от главного, Тасо. Не от хорошей жизни я к тебе приехал, нужда заставила. В тяжелую минуту к кому обратиться, как не к близкому родственнику?

— Если я в силах помочь...

— Кто же еще в силах помочь, если не ты? Славой большой пользуешься, все начальники — твои друзья, наверное... Дело такое: старший сын мой работал в магазине, а теперь его арестовали, якобы за растрату денег.

— А если он действительно растратил деньги?

— Кляузы это, Тасо. Парень он хороший, но счет вести правильно не может, малограмотный он. Мне думается, что это кляузы тех, кто стремится занять его место! Если бы сын присвоил тридцать тысяч, разве бы я не узнал об этом? Без меня он никогда копейки не израсходовал. И не пьяница он, об этом можешь спросить кого угодно.

— Чем же я могу тебе помочь?

— Кто тебя только не знает в городе? Знают и судьи. Пойди к ним и скажи: так, мол, и так, оклеветали замечательного честного парня, не дайте ему погибнуть... Начальники многое могут сделать. Вот в сумке у меня лежит копченое сало; пока я буду на базаре продавать его, ты обойди судей и все им растолкуй. Родственник — он же не для мебели родственник? Он нужен в такие тяжелые минуты.

— Не знаю, право, — в затруднении проговорил Тасо. — Не знаю...

— Сын раньше никогда не попадал в тюрьму, — не слушая его, продолжал Пупуш. — Все. Обойди судей, а я пока схожу на рынок.

На второй день Тасо отправился к своему другу председателю Верховного Суда Сабану: может, удастся с ним переговорить. Сабан оказался в отъезде.

Тасо понимал, что рабочий день его вновь пропал, но что поделаешь? Пришлось еще ходить по магазинам за продуктами. Когда художник оставался один, он почти никогда ничего себе не готовил. Но гость...

Четыре дня торговал Пупуш салом. Четыре дня ходил Тасо по знакомым и, наконец, объявил Пупушу их мнение: пока не закончится следствие и народный суд не вынесет приговор, предпринять ничего нельзя.

Пупуш приуныл; долго смотрел себе под ноги, со вздохом сказал:

— Тогда дай мне рублей триста. Сам знаешь, без расходов это дело не кончится, не обойтись так... Откуда деньги в моем доме? Тебе вот шутя за намалеванные картины платят по пять тысяч, а у нас когда это еще младший мальчик станет торговать своей мазней! Помоги мне. Если больше дашь, то будет неплохо. Для чего тогда и родственники?..

— Честное слово, — перебил гостя Тасо, — сейчас в моем доме всего двести семьдесят рублей. Израсходовался: жену отправил на курорт.

— Я же у тебя не насовсем прошу. Как только сын освободится, вернем.

— Я ведь объяснил тебе: в доме всего двести семьдесят рублей. Было б больше — дал.

Пупуш надолго задумался.

— В таком случае ссуди тем, что у тебя есть. Копейка копейке — помощь. Мне предстоит много расходов. Конечно, было бы совсем здорово, если бы ты склонил на нашу сторону начальство...

— Пойми, Пупуш, начальство разберется, узнает, где и почему ошибся парень. А что касается того, чтобы «склонить начальство» на вашу сторону, это теперь невозможно, это раньше когда-то можно было.

Тасо вытащил из ящика стола сторублевку, отдал Пупушу. Тот спрятал деньги в кошелек, выпил еще рюмочку, закусил колбасой и расправил усы. Сунув под мышку свою сумку, он взял палку и наконец направился к двери.

На улице Тасо, вышедший проводить гостя, заметил мужчину и двух женщин, по виду колхозников: они медленно шли по тротуару, рассматривая номера домов. Неожиданно мужчина воскликнул:

— Вон семнадцатый номер! Наверное, Тасо живет здесь!

Все трое поспешили пересекли улицу.

Услышав, что разговаривают по-осетински, Пупуш крикнул подходившим колхозникам:

— Вот вам и Тасо! Э, да это наши односельчане! Вот встреча!

— Как же я его не узнала! — воскликнула тем временем старшая из женщин с

золотыми серьгами в ушах и, бросившись к Тасо, обняла его. — И впрямь он!

— Постой, постой, — оторопел Тасо. — По-моему, ты Саринка. Я тебя тоже не узнал. — И он радостно обнял женщину.

В это время мужчина, сняв белую войлочную шляпу и вытирая пот со лба, жаловался Пупушу:

— Молодежь какая-то непонятная пошла. Уезжает из сел учиться и обратно не возвращается. А если молодые перестанут приезжать в село, у кого учиться нашим детям?

Пупуш оглянулся на Тасо и, увидев, что художник оживленно беседует с женщинами, проворчал:

— Не такой уж он большой человек, как о нем пишут газеты и говорят люди. Такие картины и наш младший малют. Не пойму, почему его депутатом избрали?

— Видно, избиратели лучше знают о его добрых делах.

— Если вы приехали к Тасо за помощью, то зря потеряли время.

— Зачем нам его помощь? Мы ругать будем. Хотим пригласить к себе. Пусть проживет у нас неделю, вторую, месяц... Почему не пожить ему там, где он провел свои детские годы? Тогда мы очень нуждались, не могли как следует помочь, а теперь у нас есть возможность хорошо его принять.

— Знаю, Саринка последний кусок хлеба ему отдавала, — неодобрительно вставил Пупуш.

— Это были кусочки хлеба. А теперь он должен отведать наши пироги и шашлыки.

— И вам совсем-совсем ничего не надо от Тасо? — удивленно воскликнул Пупуш, и было видно, что он не верил односельчанину.

А Тасо, провожая женщин к своему двору, крикнул их спутнику:

— Заходи, Гацыр, заходи. Извини, Пупуш, до свидания!

— Прощайте, — с обидой проворчал Пупуш и, сердито стуча палкой, — пошел по асфальту. — Чтоб вам дурные сны приснились... Как он встретил меня и как встреча-ет их! Не зря говорят: где тебя не поймут, туда и не ходи, — гордо сказал он.

Усаживая в доме гостей, Тасо радостно говорил:

— Очень хорошо, что вы приехали. Очень хорошо. Я сейчас работаю над большой картиной, в некоторых фигурах колхозников у меня не хватает жизни, и мне обязательно надо бы побывать в деревне. Только еще не решил, в какое село ехать.

— Где найдешь богаче и красивее нашего села? — спросила Саринка. — Обязательно приезжай к нам. Уж очень ты худой, родненький.

— Я отроду такой. А с тебя, Гацыр, я напишу гостеприимного хозяина, к которому на «Победе» приехали городские гости. Лучшего типажа не найти. Ну, и славно же, что вы навестили меня, прямо не знаю, как благодарить вас за внимание.

Четыре дня спустя Тасо проходил по улицам своего родного села. Чистый ветерок тянул с далеких гор, на солнце розово блестели голые отвесные скалы. Широко рас-

пластав крылья, над ущельем парил орел.
На душе у Тасо было празднично, светло:
теперь он знал, что напишет картину.

Внезапно вдали он увидел Пупуша. Старик сидел на улице в тени забора. Заметив художника, он поспешно встал, отряхнул пыль с бешмета и воровато шмыгнул в свой дом.

Тасо улыбнулся, спокойно прошел мимо.

1964

СОДЕРЖАНИЕ

Л. Либединская. Дабе Мамсуров и герои его произведений 3

РАССКАЗЫ

Залдуз. Перевод И. Юзовского	21
Сокол. Перевод Ю. Либединского	43
Лампа. Перевод Л. Свешниковой	57
Ошибка. Перевод Л. Свешниковой	62
Ее роль. Перевод Ю. Либединского	74
Журавль Бип-бип. Перевод Ю. Либединского	80
Моя дочь. Перевод И. Юзовского	101
Смерть Годаха. Перевод А. Грекова	116
Куница. Перевод Б. Шатилова	127
Цена танца. Перевод И. Юзовского	143
Женитьба Алхаста. Перевод А. Григоряна	149
Жук. Перевод А. Ольшанского	159
Кайсын. Перевод А. Ольшанского	170
Бригадир Гавдын. Перевод В. Владимирова	183
Больница для престарелых. Перевод В. Авдеева	197
Кто виноват? Перевод В. Авдеева	214
Хылма. Перевод В. Авдеева	225
Тень. Перевод В. Лидина	236
Гости. Перевод В. Авдеева	243

Мамсуров Дабе

M22 Рассказы. Пер. с осетин. Вступ.
статья Л. Либединской.— М.: Худож. лит.,
1979.— 254 с.

Дабе Мамсуров (1909—1966) — один из зачинателей советской осетинской литературы. В рассказах «Залдуз», «Бригадир Гавдым», «Сокол» и т. д. писатель обнаруживает превосходное знание быта и нравов осетин, показывает рост и формирование характера советского человека в столкновениях с трудностями.

70303-228
М

 119-79
028(01)-79

C/Кав/2

**Дабе Хабиевич
МАМСУРОВ**

РАССКАЗЫ

Редактор

В. Максимов

Художественный редактор

С. Данилов.

Технический редактор

Л. Вецкувени

Корректоры

Т. Почукалина,

Д. Эткина

ИБ № 1310

Сдано в набор 21.12.78. Подписано в печать
05.06.79. Формат 70×90 1/32. Бумага типографская № 2. Гарнитура литератур.
Офсет. 9,336 усл. печ. л. 8,558 уч.-изд. л.
Тираж 50 000 экз. Заказ 1. Цена 55 к.

Издательство

«Художественная литература»

107078, Москва, Ново-Басманская, 19.

Ордена Трудового Красного Знамени Ка-
лининский полиграфический комбинат
Союзполиграфпрома при Государствен-
ном комитете СССР по делам издательств,
полиграфии и книжной торговли, г. Кали-
нин, пр. Ленина, 5



55 K